

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
А.А. АРГАМАКОВОЙ, А.О. КОСТИНОЙ, Е.В. МАСЛАНОВА

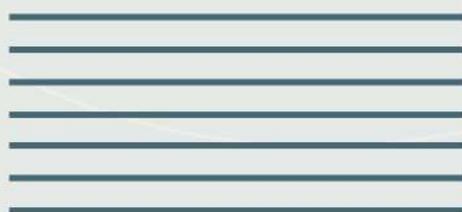
Союз

науки

и

гуманизма

& ЭПИСТЕМОЛОГИЯ
& ФИЛОСОФИЯ НАУКИ



СОЮЗ НАУКИ И ГУМАНИЗМА

Серия: «Библиотека журнала
«Epistemology & Philosophy of Science»
основана в 2010 г.

Редакционная коллегия серии

«Библиотека журнала «Epistemology & Philosophy of Science»

- ◆ член-корреспондент РАН *И.Т. Касавин* (председатель), Институт философии РАН
- ◆ доктор философских наук *И.А. Герасимова*, Институт философии РАН
- ◆ доктор философских наук *Н.И. Кузнецова*, Российский государственный гуманитарный университет
- ◆ доктор философских наук *Л.А. Микешина*, Московский педагогический государственный университет
- ◆ доктор философских наук *А.Л. Никифоров*, Институт философии РАН
- ◆ доктор философских наук *В.Н. Порус*, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- ◆ доктор философских наук *В.П. Филатов*, Российский государственный гуманитарный университет

Институт философии РАН

Союз науки и гуманизма

Монография

Под редакцией А.А. Аргамаковой, А.О. Костиной и Е.В. Масланова

Москва
Русское общество истории и философии науки
2021

УДК 13
ББК 87.2
С70

Рекомендовано к печати Ученым советом Института философии РАН.

Рецензенты:

*Доктор философских наук, профессор В. А. Кутырев
Доктор философских наук, профессор О. А. Останина*

*Научная редакция и составление – А.А. Аргамакова, А.О. Костина,
Е.В. Масланов.*

*Авторы: Аргамакова А.А. - глава 3; Касавин И.Т. - глава 1, 6;
Костина А.О. - глава 8; Куслий П.С. - глава 7; Масланов Е.В. - глава 4;
Соколова Т.Д. - глава 2; Столярова О.Е. - глава 9; Тухватулина Л.А. - глава 5.*

С70 Союз науки и гуманизма: монография / ред. и сост. А.А. Аргамаковой, А.О. Костиной, Е.В. Масланова. – Москва: Изд-во «Русское общество истории и философии науки», 2021. – 178 с. (Серия: Библиотека журнала «Epistemology & Philosophy of Science»)

ISBN 978-5-6047228-1-7

Книга посвящена исследованию гуманизма в его корреляциях с современной культурой и наукой как ее фундаментальной основой. Проанализированы важные эпистемологические характеристики гуманистического проекта, значение гуманизма для научной рациональности и общественного развития. Особое внимание уделено гуманистическому измерению технаучи и особенностям коммуникативных контекстов познания с позиций проблем гуманизма. Книга предназначена для специалистов в области философии и других гуманитарных дисциплин, интересующихся проблематикой гуманизма, современной культурой, а также эпистемологией, социальной историей и философией науки.

ISBN 978-5-6047228-1-7

УДК 13
ББК 87.2

© Русское общество истории и философии науки, 2021.
© Авторский коллектив, 2021.

Оглавление

Введение.....	6
Раздел 1. Эпистемологические дилеммы, связанные с гуманистическим проектом.....	12
Глава 1. Касавин И.Т. Проблема сознания: гуманизм vs натурализм.....	13
Глава 2. Соколова Т.Д. Проект научной философии и историческая эпистемология.....	37
Раздел 2. Гуманизм в основании научной рациональности.....	64
Глава 3. Аргамакова А.А. Чему служит наука? Рассуждения о новом гуманизме.....	65
Глава 4. Масланов Е.В. Гуманистический проект науки и популяризация научного знания.....	81
Глава 5. Тухватулина Л.А. Наука, обращенная к обывателю: о пределах неолиберальной демократизации экспертизы.....	93
Раздел 3. Коммуникативные контексты познания и проблема значения.....	103
Глава 6. Касавин И.Т. Витгенштейн и теория значения.....	104
Глава 7. Куслий П.С. Общественное развитие и гуманизм: лингвистическое измерение.....	114
Раздел 4. Гуманистическое измерение технонауки.....	138
Глава 8. Костина А.О. Будущее технологической рациональности: критическая теория технологии Э. Финберга и феминистская методология науки.....	139
Глава 9. Столярова О.Е. Проблема социального оправдания философии науки.....	155
Литература.....	166
Об авторах.....	177

Введение

На суд читателя выносится коллективная монография «Союз науки и гуманизма». Решение так озаглавить книгу выглядит если не скандально, то крайне рискованно. В настоящее время под сомнение поставлены как авторитет науки, так и способность гуманизма дать вразумительный ответ хотя бы на часть основополагающих вопросов, имеющих отношение к современности. Подверженные радикальной критике большие нарративы в гуманитарном познании, осознание несоизмеримости научных парадигм и углубляющаяся специализация естественно-научного знания делают обсуждение «науки вообще» все более проблематичным. Логичнее было бы рассуждать об отдельных научных дисциплинах и группах ученых, исследовательских программах и коллаборациях. Удобнее сравнивать технауку, постнормальную науку, профнауку и другие типы с ее «идеализированным» образом, обращенным к поиску ответов на фундаментальные вопросы мироздания. Гуманизм из влиятельного и уважаемого течения, повествующего о центральной роли человека в мире, превратился в направление, уязвимое для любого вида критики. Исследования науки и технологий, общества, авторства, структуралистские и постструктуралистские штудии показывают необязательность выделения особой роли человека в мире, в том числе демонстрируют возможность отказаться от привилегированного положения человека в альтернативных системах координат.

История XX в. показывает, что апелляция к человеку и его моральному поведению, гуманистическому идеалу всесторонней личности не столько служит на благо человеческого рода, сколько выступает идеологическим инструментом реализации бесчеловечных идей, которые лишь дискредитируют этот высокий идеал. Во имя «правильного» понимания идеалов, которым должен следовать человек и человечество, совершались массовые убийства, свергались политические режимы, создавалось оружие огромной разрушительной силы. XX в. показал, как при помощи гуманизма можно оправдать практически все и то, что лишь изредка гуманистические принципы используются во благо.

Притом замысел книги оказывается под ударом еще одного обстоятельства. Соотношение между современностью, наукой и гуманизмом выглядит спорно. Сложно отрицать, что современность практически нельзя представить без научного знания. Наука – квинтэссенция европейской культуры, которая в настоящее время распространилась на все континенты и выступает не просто как европейская, а как общемировая цивилизация. Ведущая роль науки в этой

цивилизации подчеркивается самыми разными, непохожими мыслителями, которые как восторгались ее достижениями, так и критиковали ее. Немецкие романтики, либеральные европейские мыслители, русские западники и ранние славянофилы, продолжатели их идей – Н.Я. Данилевский и К.Н. Леонтьев, а также Ф.М. Достоевский и О. Шпенглер, марксисты, современные либералы и консерваторы – все согласятся с утверждением о чрезвычайно значимой роли научного знания. Наука многое дала европейской цивилизации и явилась одним из ее важнейших проявлений, сделав альтернативу технологическому развитию сложно вообразимой. Однако соотношение гуманизма и современности имеет основание, чтобы быть поставленным под сомнение. Не только невозможно писать стихи после Освенцима и не быть после этого варваром. Становится многократно сложнее говорить о гуманизме и не быть при этом превратно истолкованным другими. В мире тотального диктата технологий, формирования информационных пузырей, массовых движений, целенаправленного формирования множества стилей потребления роль человека меняется и попросту забывается. Плоские онтологии и обращение к большим сборкам радикально трансформируют наше понимание места человека в мире. Человек – лишь один из элементов внутри плоского измерения без иерархий. Он не обладает никакими особенностями, а человеческий разум только «обманывает», утверждая свою особую роль. Наоборот, более полное понимание современности приводит нас к осознанию того печального факта, что человечество не нуждается в идеях гуманизма. Однако и эта скептическая позиция представляется обманчивой и опасной, ограничивая всякий дальнейший анализ положения дел в мире. Точно так же гуманизм «захватывает» наш разум и не позволяет понять устройство нового мира. В крайнем случае он оказывается в одном ряду с колониализмом, империализмом и другими «измами», от которых намерено избавиться просвещенное общество современности.

Не менее иллюзорно выглядит сочетание «гуманизма» и «науки». Каким образом они могут быть соотнесены? Естественные науки исследуют мир, в котором человек – лишь один из объектов изучения. Он ничем не лучше кошки или собаки, камня или протона, дерева или алмаза. Это всего лишь объект изучения. Конечно же, сам исследователь – человек, но не его «человеческая» природа, а познавательные стремления его разума определяют характер исследований. Существует опасность, что подобное описание естественно-научного исследования в широком смысле носит идеализированный характер. Социокультурные, экономические и политические обстоятельства, человеческие эмоции и разница индивидуального опыта образуют значимые факторы научной практики, не в последнюю очередь порождаемой коммуникациями между людьми. Однако и это «человеческое» измерение науки не отрицает того

обстоятельства, что для естественных наук человек – лишь один из объектов. Да и в гуманитарном познании исследователи все чаще заявляют, что развитие социальных структур, авторство – многое из того, что мы считали проявлением человеческой «свободы», творческого порыва и свободного полета фантазии, производно либо от социальных институтов, либо от проявлений активности коры головного мозга. Можно было бы сказать, что «наука» и «гуманизм» соседствуют благодаря распространению гуманитарных идей и научному знанию. Представление о важности взаимопонимания и рациональных дискуссий, возможности найти взаимопонимание между группами, обладающими несхожими взглядами, может составить основу для нового гуманизма. Однако такой взгляд неявно влечет наличие корреляций между современностью и гуманизмом в его исторически трагическом виде, подверженном изложенной выше критике.

Все перечисленные противоречия в полной мере осознают авторы монографии. Они исходят из простой идеи о том, что прогресс современной культуры не может идти по пути отрицания гуманизма и роли человека в мире. Современная наука если еще не стала, то вполне может стать новым гуманистическим проектом. Она способна заново переопределить связи между наукой, гуманизмом и современностью. Не стоит забывать, что европейская культура и наука явились воплощением представления о том, что человеческий разум и идеи гуманизма неразрывно следуют вместе. Несмотря на то, что новоевропейская культура и наука отказались от рассмотрения человека и места его обитания, Земли, как центра мира, идеи антропоцентризма нашли неповторимое воплощение. Перестав определять свое положение как центральное в пространственном смысле, человек сделал исходной точкой любой умозрительной деятельности собственный разум, благодаря чему смог изучить его в тотальности. Изобретение телескопа позволило посмотреть на звезды, а микроскопа – увидеть мир в недоступных глазу деталях. Однако, распространившись везде, человек потерял уникальное место и оказался нигде. Это составляет одну из глубинных причин того, что современные претензии к гуманизму вполне оправданы.

Авторы данной монографии определяют в качестве своей главной задачи многосторонний анализ и переопределение соотношения науки и гуманизма. Осознавая масштаб обозначенной цели, следует понимать, что в рамках одного коллективного труда представляется маловероятным ее полное выполнение. Тем не менее книга выстроена таким способом, который позволяет посмотреть на проблему из перспективы множества дисциплинарных и междисциплинарных полей, обозначить их прогрессивные тенденции, осветить привычные темы принципиально иначе, а значит, определить последующие шаги для разработки проблемы объединения гуманизма с наукой.

Структура тома

Книга разделена на четыре части, или раздела. Основным фокусом первой части является анализ эпистемологического содержания нового гуманистического проекта. В частности, производится проблематизация сознания в разрезе гуманистического и натуралистического эпистемологических подходов. Далее следует исследование исторической эпистемологии и связанного с ней понятия прогресса. Научное знание и научные институты в их соотношении с гуманистическим проектом и общими социальными функциями становятся основным предметом исследований второй части. В третьей части производится анализ коммуникативных и лингвистических аспектов разработки гуманистического мировоззрения. Объектом исследования завершающего, четвертого раздела предстают образы научности и технонаука, их общественные позиции и перспективы развития в соотношении с построением нового научного этоса и с гуманизацией проектов технорациональности.

И.Т. Касавин (глава 1) рассматривает трансформацию методологического подхода, применяемого к анализу сознания. В дополнение к существующим онтологическим вопросам обозначается ряд новых эпистемологических. Они относятся к раскрытию природы сознания, а также процесса познания. Саморефлексия и интересубъективность при этом обозначают две полярные позиции анализа, порождающие множество как радикальных, так и компромиссных вариантов концепций сознания. Проблемы корреляций сознания и познавательной активности могут быть рассмотрены из перспективы двух подходов. Первый фиксирует эту взаимосвязь как адаптивную эволюционную стратегию, второй производит акцент на внутренних процессах, где доминируют рефлексия и саморефлексия. Каждый из подходов откликается исключительно на часть поставленных вопросов, не предоставляя при этом исчерпывающего объяснения. Это подводит к необходимости формулировки гуманистического вопроса о взаимосвязи сознания и человеческой свободы.

Т.Д. Соколова (глава 2) строит свое исследование на анализе соотношений проекта научной философии и исторической эпистемологии. Выбор истории науки в качестве предмета философской рефлексии предлагает надежное основание для философского познания. Это способствует закреплению за философией эпистемического статуса дисциплины, производящей обоснованное знание о мире. В контексте данной главы исследуется проект научной философии А. Рея, явившийся истоком «классической» (Г. Башляр) и «маргинальной» (Э. Метцжер) версий исторической эпистемологии.

А.А. Аргамакова (глава 3) анализирует актуальную роль гуманитарных наук, участвующих в реализации множественных вариантов

трансформации природы человека и окружающего его социума. Гуманитарные науки составляют ключевое звено процесса культуротворчества, в результате которого происходит не только реорганизация и преобразование культурной жизни людей, но и прирост нового знания человека относительно себя самого. Детальный анализ практического значения гуманитаристики и ее соотношений с гуманизмом производится с опорой на ряд значимых для нашего времени социальных и цифровых исследований культуры.

Е.В. Масланов (глава 4) освещает проблематику социальной ответственности, возложенной на научное познание. Поводом для критики становятся разрушительные, эрозийные эффекты, имеющие отношение к избыточной роли научной и технической рациональности в эволюции общественных институтов. Автор, уделяя внимание не только негативным, но и положительным аспектам науки, пристально изучает ее вклад в непрерывный процесс познания мира и сближает его с реализацией ряда идей внутри масштабного гуманистического проекта.

Л.А. Тухватулина (глава 5) обращается к понятию «хорошо упорядоченной науки», выявляя основания, необходимые для ее реализации. Наряду с тем автор рассматривает концепцию идеальной дискуссии Ф. Китчера в перспективе демократизации научной политики и экспертизы. В главе приводятся причины распространения дениализма как кризиса общественного доверия науке. Назревший запрос на демократизацию научной практики при этом служит одним из наиболее важных факторов реализации проекта гуманизма.

И.Т. Касавин (глава 6) обращается к актуальному контексту дискуссий вокруг теории значения Л. Витгенштейна. Автор рассказывает об одном из самых масштабных событий, связанных с исследованием творчества философа – 32-ом Международном витгенштейновском симпозиуме. Анализируя тенденции в исследовании творчества создателя «Логико-философского трактата», автор переходит к полемике вокруг обозначенной темы. И.Т. Касавин обосновывает тезис об условиях, при которых программа Л. Витгенштейна может быть реализована. Описывая ряд специфичных для социо-гуманитарных наук акцентуаций в анализе понимания текста, автор приходит к выводу о необходимости использования позиции радикального контекстуализма. Только в рамках обозначенной позиции значение рассматривается как свойство текста, включенного в процесс понимания, коммуникации и отношений с внешней средой. Понимание текста при этом требует максимального расширения контекста – от личности автора до социальной системы, внутри которой осуществлялась его работа.

П.С. Куслий (глава 7) анализирует ключевые черты, отличающие научное и ненаучное понимания языка. В главе подробно описаны языковые стереотипы, их базовые черты и роль, выполняемая ими

в формировании общественных норм. Выявленные стереотипы языка могут выступать как в качестве препятствия справедливому общественному регулированию, так и важной стратегической частью решения социальных, экономических и культурных задач. Основываясь на ряде актуальных научных дискуссий, автор выстраивает картину происхождения и эволюции естественных языков. Наряду с этим подвергаются разбору значимые внутридисциплинарные методологические задачи и внешние вызовы современной лингвистики, изученные в контексте обозначенной проблемы языковых стереотипов.

А.О. Костина (глава 8) фокусирует свое внимание на проблеме демократизации технологической рациональности. Основываясь на тезисах критической теории технологии Э. Финберга, автор последовательно анализирует процесс политизирования технологической рациональности и его роль в консервации доминирующей власти. Первичная инструментализация, приводящая к деконтекстуализации и созданию технических кодов, определяет ограничение человеческой свободы и реализации творческого потенциала. Ключевым фактором возможных перемен становится изменение технического кода, реализуемого в технологическом дизайне. Демократизация технологической политики связана с реализацией в дизайне разнообразия социальных запросов. Представление о контекстуальности технологии, а не ее «нейтральности» (в действительности являющееся политическим заявлением) требует пересмотра не только технологического, но и научного методологического подходов. Существующие примеры НСИ показывают, как феминистская методология науки создает основу для демократизации метода ее технологических воплощений.

О.Е. Столярова (глава 9) показывает корреляции между способами социального оправдания философии науки и образами идей научности и науки как таковой. Позитивистский образ утверждает односторонние отношения между учеными и исследуемыми объектами, а значит, полностью определяет параметры контроля и целей работы ученых и их исследований. Внутри подобной модели невозможно обосновать миссию такой дисциплины, как философия науки. Только изменение модели, выстраивание «заинтересованной науки», основанной на «учете интересов» исследуемых объектов вместо одностороннего контроля, может расширить границы диалога противоборствующих сторон. Подобная сущностная трансформация способствует гуманизации научных практик и плодотворной экспансии исследовательского контекста.

*А. Костина
Е. Масланов*

Раздел 1.
Эпистемологические дилеммы,
связанные с гуманистическим проектом

Глава 1

Проблема сознания: гуманизм vs натурализм

И.Т. Касавин

В наши дни намечаются отказ от чисто онтологической трактовки сознания в стиле аналитической метафизики и дополнение ее эпистемологическим подходом, в плодотворности которого убеждены многие российские философы и психологи. Мы познаем сознание, казалось бы, наиболее непосредственным и достоверным образом, осуществляя самонаблюдение, однако такое знание не является intersubjectively обоснованным. И одновременно мы познаем сознание опосредованно и intersubjectively, наблюдая поведение других людей, однако такое знание является лишь приблизительным и вероятным. К этому следует добавить и другие вопросы, связанные с ролью сознания в процессе познания. Можно ли свести познание к адаптации в природном окружении, как полагают эволюционные эпистемологи? Или фактор самосознания и рефлексии является принципиально важным для познания? Наконец, оправдано ли вообще рассмотрение сознания вне процесса познания, как это нередко происходит в рамках дискуссий по проблеме «сознание-мозг»? И вместе с тем есть ли в сознании что-либо, что не является знанием? Сводится ли сознание к знанию о происходящих в теле процессах? Являются ли квалиа знанием или исключительно эпифеноменом деятельности мозга?

Ключевые слова: разум, сознание, знание, квалиа, ментальные состояния, психосемантика, редукционизм, бихевиоризм, ментализм, идеализм, дуализм, материализм.

Историко-типологические замечания

Главные философские вопросы о природе человека, его особом отношении к миру и специфике философского знания неразрывно связаны с проблемой сознания, в каждую историческую эпоху обретающей новую форму. В процессе развития философии от нее неоднократно отделялись конкретные области знания, образуя научные дисциплины, и характерным образом изменялась терминология. Так «natural philosophy» Ньютона превратилась в физику, «philosophie zoologique» Ламарка – в эволюционную биологию, аристотелевская «Athenaion Politeia» и Гоббсов «social contract» – в социально-политические науки, а юмовское учение о «human understanding» – в психологию. В свое время Ф. Энгельс заявил в «Анти-Дюринге», что от прежней философии остается лишь учение о мышлении – формальная логика и диалектика, остальные же области уже заняты «позитивными науками». Однако уже тогда ситуация изменялась; логика, лингвистика и психология превращались в самостоятельные дисциплины, и на долю философии в итоге не осталось ни одной монополярной сферы. В наши дни философствовать о природе сознания невозможно вне критического

анализа результатов и методов не только гуманитарных, но и естественных наук – в общем виде этот тезис не оспаривается ни одним философским направлением.

Справедливо и обратное. Философские способы проблематизации сознания сохраняют свою потенциальную значимость для ученых, и притом вне зависимости от того, признают ли они это в явной форме. Картезианская рядоположенность мыслящей и протяженной субстанций олицетворяет собой для психологов дуализм психики и тела, сознания и мозга. Родоначальниками сходного учения о психофизическом параллелизме стали Н. Мальбранш и Г.В. Лейбниц. Механистический материализм, наиболее рельефно выраженный Т. Гоббсом и Ж.О. Ламетри, выступил прототипом научного редукционизма. Д. Юм совместил понимание сознания как «потока», или «театра» впечатлений, с отрицанием духовной субстанции. Тем самым он инспирировал два противостоящих подхода к сознанию: феноменологический ментализм и нейрофизиологический элиминативизм, вплотную приблизившись к блестящему парадоксу (единственно реальным является сознание, но сознание не является реальностью).

Многообразие взглядов на природу сознания – хорошо известный факт [Прист, 2000]. Исследователи по-разному классифицируют их, выделяя от двух до десяти различных подходов. Это: «идеализм», «материализм», «панпсихизм», «дуализм», «психофизический параллелизм», «репрезентационизм», «логический бихевиоризм», «функционализм», «нейтральный монизм», феноменологический и культурно-исторический подходы и их многочисленные варианты. Стремление выйти за их пределы характеризует последние дискуссии в данной области, в частности, работы Дж. Серла и Д. Деннета [Юлина, 2004; Васильев, 2009]. Однако многообразие подходов при внимательном рассмотрении обнаруживает определенное единство. По мере того, как мы углубляемся в детали рассматриваемых концепций, выясняется, что все они похожи друг на друга в той мере, в какой являются продуктом обстоятельной философской рефлексии. Едва ли не всех философов сознания объединяет стремление учесть максимальное количество аспектов избранной области анализа и найти наиболее сбалансированное решение, которое при этом бы учитывало и философский, и научный, и обыденный ракурсы рассмотрения. Впрочем, в итоге все они фактически расписываются в невозможности найти «конкретное решение» проблемы сознания, приходя либо к ее отрицанию, либо к ее существенной переформулировке.

При этом обнаруживаются три общие черты большинства основных современных англо-американских подходов к сознанию, которые вызывают наибольшее недоумение. Во-первых, сознание (психика, ментальные события) рассматривается, как правило, безотносительно

к процессу познания, а также предметной деятельности, коммуникации, культуре и обществу [Касавин, 2009]. «Загадка сознания» во многом определяется тем, что дискурс аналитических философов уже многие десятилетия циркулирует почти исключительно в области «mind-body problem». Вероятно, здесь проявляется неприятие, а может, и незнание целого крупного направления в философии, психологии, социологии и лингвистике – культурно-исторического подхода (Г. Шпет, Л. Выготский, М. Бахтин, М.К. Петров и др.), который в определенной степени связан с марксизмом¹. На поверхности же это обусловлено стремлением к дисциплинарной стерильности – отграничением области того, что понимается под «philosophy of mind», от эпистемологии, теории культуры, социологии и философии языка.

Во-вторых, в качестве достойного собеседника для философа сознания избирается исключительно ученый естественнонаучного профиля (физик, биолог, физиолог, специалист в области когнитивной науки) или психолог естественнонаучной ориентации. Это можно понять так, что социально-гуманитарным наукам отказывается в собственно научном статусе или что они объявляются нерелевантными для рассматриваемой проблематики. В такой установке проглядывает очевидный и давно изживший себя сциентизм, от которого отказываются даже сами ученые-естественники.

Наконец, в-третьих, вопрос об онтологическом статусе сознания (именуемый «трудной проблемой сознания») никак не соотносится с вопросом о его генезисе. Получается, что даже если сознание имеет собственный онтологический статус, то как он приобретает, никого не интересует. Можно ли в таком случае вообще понять его природу? Это довольно странная позиция в эпоху, когда ученые уже выдвинули множество гипотез даже о возникновении Вселенной. Она уподобляет философию сознания современной теологии, которая отказалась от теогонических претензий и табуирует проблему возникновения Бога. По всей видимости, генезису сознания отводится роль частной научной задачи, которая рано или поздно будет разрешена без вмешательства философов (то, что Д. Чалмерс именуется «простыми проблемами сознания» [Chalmers, 1995]). Однако в таком случае рассмотрение всего многообразия типов сознания (первобытного и современного, животного и человеческого, детского и взрослого и т.п.) лишается всякого смысла, и вопрос ставится только в самом общем виде, а говоря попросту, чрезмерно абстрактно не только для естествознания, но даже для философии.

¹ Особняком стоят некоторые «научные материалисты», чьи идеи порой резонируют с положениями вульгарного марксизма-ленинизма в стиле «Материализма и эмпириокритицизма».

Между онтологией и эпистемологией

Несмотря на вышесказанное, в современной философии по ряду политико-экономических обстоятельств доминирует аналитическая постановка вопроса о сознании [Metzinger, Schumacher, 1999] и, в частности, как проблемы онтологии. В чем же видится эта проблема сознания? Как многие полагают, она состоит в том, что деятельность мозга сопровождается субъективным опытом, нередуцируемым ментальными состояниями первого порядка, проприоцептивными восприятиями, т.н. квалиа (*qualia*²). Но являются ли квалиа в самом деле состояниями первого порядка, полностью независимыми от культуры? Не исчезает ли в таком случае различие между животным и человеческим сознанием? И как быть с высшими формами сознания, которые практически исключаются из рассмотрения? В частности, речь идет о понятии субъективности, в которой уже содержится как единство сознания (воли, внимания, памяти, мышления, восприятия), так и частично понятие опыта. И потому определение «сознание есть субъективный опыт» содержит круг, т.к. эквивалентно определению «сознание есть единство сознания, частично включающее в себя сознание». Однако главное даже не в этом логическом затруднении, а в том, что оно воспроизводит старую дуалистическую постановку вопроса, исторически себя исчерпавшую с точки зрения как философии, так и науки. Поэтому неудивительно, что наиболее влиятельные современные концепции сознания колеблются между двумя способами снятия дуализма. Это: различные версии элиминативизма, эпифеноменализма, функционализма и бихевиоризма, не признающие за субъективным опытом онтологического статуса, или разные варианты монизма, ставящие «единство события» на место противоположности материального и ментального [Фоллмер, 1998; Меркулов, 2003; Райл, 1999; Серл, 2002; Деннет, 2004; Рорти, 2005].

Представляют ли ментальные и физические события два нередуцируемые друг к другу класса? Возможны ли редукция одного к другому или их каузальное взаимодействие? Для логического бихевиоризма все это – псевдovoпросы, устранимые логическим анализом языка. По выражению К. Гемпеля, «старая проблема отношения между ментальными и физическими событиями... основывается на недоразумении относительно логической функции психологических понятий. Наша аргументация позволяет понять, что психофизическая проблема является псевдопроблемой, формулировка которой основывается на недопустимом употреблении научных понятий» [Hempel, 1980, p. 20]. Ему вторит Г. Райл, усматривая в понятии сознания как такового ошибочную привычку обыденного языка. «Одним из сильнейших

² Качественные свойства; производное от «qualitative» (англ.).

факторов, заставляющих нас верить в доктрину о том, что сознание является приватной сферой, служит прочно укоренившаяся привычка соглашаться с тем, что должны существовать “когнитивные акты”, или “когнитивные процессы”» [Райл, 1999, с. 307-308]. Однако сказать, что логический или лингвистический бихевиоризм способен предложить более успешный подход к сознанию, было бы непониманием его сути. Критика и терапия языка – вот задача, которую ставят себе его представители со времен Л. Витгенштейна. Разоблачение иллюзий и заблуждений, а не навязывание новых занимает и Г. Райла, труды которого наполнены блестящим критическим пафосом, но не предлагают готовых решений. «Согласно одной точке зрения, наши мысли тождественны тому, что мы говорим. Приверженцы противоположной точки зрения справедливо отвергают подобное отождествление, но делают это естественным, однако неверным способом: в форме утверждения, что говорить – это делать одно дело, думать – это делать совершенно другое» [Райл, 1999, с. 319], – пишет Г. Райл, полемически выделяя крайние точки зрения.

Во многом иначе поступает Д. Дэвидсон, один из наиболее влиятельных представителей «материализма» в философии сознания, который всячески стремится найти универсальный и позитивный компромисс. Кавычки здесь подчеркивают своеобразие его материализма, который, по сути, представляет собой версию физикализма, максимально ослабленного методами логико-лингвистического анализа.

Формулируя свою теорию сознания, Дэвидсон постулирует три принципа, каждый из которых полагается безусловно истинным. Первый принцип гласит, что по крайней мере некоторые ментальные события каузально взаимодействуют с физическими событиями (принцип каузальной интеракции). Согласно второму, где имеет место каузальность, там должен быть и закон: события, относящиеся как причина и следствие, подпадают под строгие детерминистические законы (принцип номологической каузальности). Однако третий принцип состоит в утверждении, что не существует строго детерминистических законов, на основе которых могут быть объяснены и предсказаны ментальные события (аномализм ментального). Дэвидсона не смущает, что для многих философов принятие всех трех принципов выглядит непоследовательностью и даже противоречием. Он считает их одновременно истинными и собирается это обосновать, построив теорию тождества ментальных и физических событий. Эта теория получит также именование «аномального монизма» или «холизма», согласно которой между сериями физических и ментальных событий можно установить причинные связи. Но как же следует понять такое признание, граничащее с кокетством? «Ясно, что это “доказательство” теории тождества будет в лучшем случае условным, поскольку две из ее посылок не имеют

оснований [support], а аргументация в пользу третьей может быть оценена как неубедительная [less than conclusive]» [Davidson, 2001, p. 207].

Далее Дэвидсон пародирует логический бихевиоризм в стиле К. Гемпеля, задавая следующий вопрос. «Что значит сказать, что событие является ментальным или физическим? Естественным ответом будет, что физическое событие описывается в чисто физическом словаре, а ментальные – в ментальных терминах» [Davidson, 2001, p. 208]. Но из этой замечательной тавтологии вытекают определенные трудности. Так, из конъюнкции истинного высказывания и его отрицания («некоторое *x* находится и не находится в Нуза Хедз [район в Австралии – *И.К.*]»), которые очевидно принадлежат физическому словарю, следует все, что угодно, в том числе и истинность в отношении ментальных событий. Поэтому следует избавиться от предикатов, тавтологически истинных в отношении любых событий, и заменить ментальные термины пропозициональными установками типа верить, намереваться, надеяться, воспринимать и т.п., которые иногда появляются в высказываниях, относящихся к личностям, притом только в неэкстенциональных контекстах. Вероятно, в логико-лингвистическом анализе ментального следует отказаться от закона исключенного третьего, потому что он «не соответствует интуитивным фактам». Но поскольку проблема сознания не обсуждается Дэвидсоном по существу дела, т.е. с привлечением каких-либо иных «неинтуитивных» фактов (нейропсихологических, например), то непонятно, что, собственно, образует фундамент его теории, кроме некоторой веры в ее абстрактную возможность.

Моя теория, утверждает Дэвидсон, хотя и отрицает наличие психологических законов, но совместима с точкой зрения, что ментальные характеристики в некотором смысле зависимы от физических характеристик или хотя бы «супервентны», т.е. сопровождают мозговые процессы. Такая супервентность может означать, что два события, пусть они даже не полностью идентичны в физическом смысле, могут различаться в некотором ментальном смысле или что объект не может изменяться ментально, не изменяясь физически. Из зависимости или супервентности такого рода не следует редуцируемость путем закона или дефиниции.

Примечательно, что теория, о которой ведет речь Дэвидсон, ничего не говорит о процессах, состояниях или атрибутах, если они отличаются от индивидуальных событий. Зачем же в таком случае он обращается к холистической аргументации, почерпнутой у его учителя У. Куайна? Из холистской теории ментального вытекает, по мнению Дэвидсона, что любое физикалистское объяснение ментальных событий несостоятельно, поскольку объяснения ментальных событий содержат ссылки на другие ментальные события и языковые явления, а физикалистские объяснения содержат ссылки только на физические события. Как пишет Дэвидсон:

«Физическую реальность характеризует то, что физическое изменение можно объяснять с помощью законов, устанавливающих связь между ним и другими изменениями и условиями, описываемыми в физических терминах. Ментальное же характеризуется тем, что при приписывании ментальных явлений индивиду должно учитывать имеющиеся у него мотивы, убеждения и намерения. Не может быть тесной связи между этими сферами, если каждой предписано сохранить приверженность ее собственным эмпирическим источникам (evidence)» [Davidson, 2001, p. 222]. Остается надеяться лишь на то, что тождество материального и ментального имеет случайно-эмпирический характер (contingent identity), но в таком случае нужно ответить на известное возражение С. Крипке о том, что контингентное тождество не является тождеством в строгом смысле слова [Kripke, 1971].

Трудно отказаться от искушения, чтобы сделать выводы из вышесказанного, пародируя свойственный Дэвидсону витиеватый стиль. Не будет совершенно невероятным, если мы предположим, что по крайней мере некоторые из положений аномального монизма мало чем отличаются от некоторых тезисов его противников, логических бихевиористов (К. Гемпеля, Г. Райла), или нейтрального монизма (Б. Рассела), или даже дуализма и психофизического параллелизма (К. Поппер, Дж. Экклз). У всех речь идет о том, что ни материальное, ни ментальное сами по себе не даны, а философский дискурс имеет дело лишь с неясными интуициями о некотором неопределенном отношении между нашим сознанием, с одной стороны, и телесной организацией, с другой; между событиями персонального опыта и событиями материального мира. Однако в любом случае философ анализирует лишь объективированные формы существования ментального, т.е. высказывания о них, а потому все зависит от того, какие значения приписываются терминам «ментальное», «физическое», «каузальность», «связь», «закон» и т.п.

Одна из особенностей концепции Д. Дэвидсона состоит во внимании к исключительно индивидуальному субъекту и его ментальным состояниям, пусть даже выражаемым в интерсубъективном языке. Отсюда и неразрешимость проблемы иных сознаний иначе как по аналогии с сознанием Я. Другим путем идет П. Стросон. Его объяснение, каким образом возникает понятие Я как субъекта опыта, сводится к следующему: «Необходимым условием для того, чтобы кто-то мог приписывать себе – как он это делает – состояния сознания, переживания, является его способность или готовность также приписывать их другим, которые не есть он сам» [Strawson, 1959, p. 99]. Ментальные состояния, присущие индивиду, познаются им не на собственном примере путем анализа своей «субъективной» реальности, как призывали делать Р. Декарт, Дж. Локк, Дж. Беркли и Д. Юм. Именно стремление объяснить поведение других людей и приводит субъекта к идее их ментальных состояний, которая

затем экстраполируется им на себя. Здесь было бы уместно сослаться на символический интеракционизм (Дж. Мид) или культурно-историческую психологию (Л.С. Выготский), эмпирически обосновавшие это обстоятельство. Однако Стросон, как и подобает оксфордскому аналитику, ориентируется на концептуальный анализ сознания. Если у нас есть понятие сознания, а всякое понятие в качестве денотата имеет класс некоторых явлений, то солипсизм оказывается внутренне противоречив или он не поднимается до понятия сознания как такового. «Человек может приписывать себе состояния сознания, только если он может приписывать их другим. Он может приписывать их другим, только если он способен идентифицировать других субъектов опыта. Но их нельзя идентифицировать только как субъектов опыта, обладателей состояния сознания» [Strawson, 1959, p. 100].

Эта позиция близка витгенштейновской критике личного (private) языка, призванного выразить субъективный опыт и потому обладающего особыми чертами. Никто, кроме изобретателя этого языка, не может использовать и понимать его, как скоро он говорит об опыте, который дан непосредственно и не может быть объективирован. «Но мыслим ли такой язык, на котором человек мог бы для собственного употребления записывать или высказывать свои внутренние переживания – свои чувства, настроения и так далее? – А разве мы не можем делать это на нашем обычном языке? – Но я имел в виду не это. Слова такого языка должны относиться к тому, о чем может знать только говорящий, – к его непосредственным, личным впечатлениям. Так что другой человек не мог бы понять этот язык» [Витгенштейн, 1994, с. 171].

И в этой позиции, как мы видим, происходят отказ от чисто онтологической трактовки и дополнение ее эпистемологическим подходом к сознанию, в плодотворности которого убеждены многие российские философы и психологи [Лекторский, Молчанов, Зинченко, 2009; Иванов, 2010]. В.П. Филатов удачно выделил собственно эпистемологическую проблематику философии сознания [Филатов и др., 2005]. Мы познаем сознание, казалось бы, наиболее непосредственным и достоверным образом, осуществляя самонаблюдение, однако такое знание не является интерсубъективно обоснованным. И одновременно мы познаем сознание опосредованно и интерсубъективно, наблюдая поведение других людей, однако такое знание является лишь приблизительным и вероятным. К этому следует добавить и другие вопросы, связанные с ролью сознания в процессе познания. Можно ли свести познание к адаптации в природном окружении, как полагают эволюционные эпистемологи? Или фактор самосознания и рефлексии является принципиально важным для познания? Наконец, оправдано ли вообще рассмотрение сознания вне процесса познания, как это нередко происходит в рамках дискуссий по проблеме «сознание-мозг»? И вместе с тем есть ли в сознании что-либо, что не

является знанием? Сводится ли сознание к знанию о происходящих в теле процессах? Являются ли квалиа знанием или исключительно эпифеноменом деятельности мозга?

Противоположности гуманистического и натуралистического подходов к сознанию Р. Харре охарактеризовал как отношение между дискурсивной психологией и нейронаукой [Харре, 2007]. Он полагает, что дискурсивная психология призвана ставить задачи, а нейронаука должна искать механизмы их реализации – такова программа объединения их усилий. Так или иначе, для «нормальной науки» следствия такого противостояния или союза оказываются не особенно трагическими. Сторонники обоих подходов занимаются своим делом, используют разные методы, получают разные результаты. Они могут в трудные минуты поражаться тайне сознания и размышлять о загадочности «субъективного опыта», его эмерджентности, эпифеноменальности, супервентности, квазикаузальности. Однако в своей повседневной жизни ученые практикуют ту или иную форму редукционизма в понимании человеческой субъективности. И иначе быть не может, если условием науки является получение объективного знания об изучаемом предмете, даже если это такая тонкая материя как сознание – извините за каламбур. Серьезной и по настоящему трудной – вплоть до неразрешимости – является собственно философская проблема сознания. Она представляет собой наиболее яркую проблематизацию отношения человека к миру и его места в этом мире и образует то, что можно назвать «жестким ядром» мировоззрения. Каким мы хотим видеть человека? Какой образ человека философ предлагает всем остальным? Личность, наделенную душой, духом, сознанием, или субъекта психических, ментальных состояний? Фигуру, поведение которой может быть неотличимо от поведения зомби, компьютера, робота? Человека, мечтающего изменить геномную основу психики и превратиться в сверхчеловека? Мистика, находящегося в плену бессознательных переживаний? Интроверта, заикленного на невыразимости своего внутреннего опыта? Индивида с синдромом гиперсоциализации, подменяющего свое сознание объективациями и желающего не «быть», а «иметь»? Утонувшего в коммуникации андроида, который одним ухом погружен в iPhone, а другим – в iPod, одним глазом следит за iPad, а другим – за iMac?

Предварительные итоги

Чтобы еще яснее понять остроту поставленных вопросов, обратимся к двум известным литературным примерам – пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион» и роману Мэри Шелли «Франкенштейн». Они посвящены одному и тому же сюжету – возможности создания «нового человека» искусственным путем, с помощью гуманитарных или естественных наук,

образцом которых служат филология и биология соответственно. Виктор Генри Хиггинс лепит свое творение из той социальной материи, которой также отказано в сознании и даже в жизни. Франкенштейн создает своего монстра из мертвого вещества природы, извлекая из него жизнь и сознание. Оба творца изначально не обременяют себя мировоззренческими сомнениями, а продукты их технологий в той или иной мере страдают от трудностей социализации и самоидентификации. Ниже представлено несколько логически расположенных фрагментов из «Пигмалиона».

Миссис Хиггинс. Ах, взрослые дети! Вы играете с куклой, но она ведь живая.

Хиггинс. Хорошая игра! ... Вы даже не представляете себе, как интересно взять человека, наделить его новой речью и с помощью этой речи сделать его совершенно иным...

Хиггинс. Оставьте вы ее, мама. Пусть говорит сама за себя. Вы очень скоро убедитесь, что у нее нет ни одной своей мысли, ни одного своего слова – всему научил ее я. Повторяю вам, я создал ее из рыночных отбросов, а теперь эта гнилая капустная кочерыжка разыгрывает передо мной знатную леди.

Пикеринг (с добродушным упреком). А вам не приходит в голову, Хиггинс, что у девушки могут быть какие-то чувства?

Хиггинс (критически осматривая ее). Нет, вряд ли. Во всяком случае, не такие, которые следовало бы принимать во внимание. (Весело.) Есть у вас какие-нибудь чувства, Элиза, а?

Элиза (Обращаясь к Пикерингу). ... Видите ли, разница между леди и цветочницей заключается не только в умении одеваться и правильно говорить – этому можно научить, и даже не в манере вести себя, а в том, как себя ведут с ними окружающие. С профессором Хиггинсом я навсегда останусь цветочницей, потому что он вел себя и будет вести себя со мной, как с цветочницей. Но с вами я могу стать леди, потому что вы вели себя и будете вести себя со мной, как с леди.

Эти фрагменты образуют основную аргументацию Хиггинса, которую по сути дела разделяет и Элиза Дулитл – его экспериментальный проект. Профессор убежден в том, что человек – существо, всецело конструируемое социально, извне, с помощью копирования поведения, прежде всего, языкового, и не обладающее никакой «субъективностью» (чувствами, мыслями, переживаниями, идеалами) за пределами преподанных ему общественных форм и отношения к нему других людей. Если человек не может выразить себя, то ничего у него внутри нет. «Все, что может быть сказано, может быть сказано ясно. О чем невозможно говорить, о том следует молчать», – артикулирует эту идею знаменитая максима Л. Витгенштейна в «Логико-философском трактате».

А в чем же субъективность пресловутых квалиа, понятых как продукты деятельности мозга? Неужели именно они, а не особые соотношения культурных качеств – способности к творчеству, любви к прекрасному, страха смерти – характеризуют каждого отдельного человека?

Природа ли, культура ли программирует человеческое сознание – теоретические крайности сходятся. Но философам, подвергающим их критической рефлексии, стоило бы убеждать нас в ином – в том, что мы можем и должны быть свободны; если не выходит иначе, то по крайней мере в сфере нашего сознания.

Многомерное сознание у границ измеримости

Итак, сознание, как и прежде, остается важнейшей проблемой и философии, и психологии. И, несмотря на множество научных работ, выполненных в этой области, данный феномен в ряде отношений продолжает ускользать от исследователей, открываясь новыми сторонами и измерениями и оставаясь не до конца определенным.

Эту загадочность сознания нечасто артикулируют авторы, всерьез занятые данной темой. В особенности это касается специалистов в области психологии, хотя есть и отрадные исключения. Такова, например, известная монография В.Ф. Петренко [Петренко, 2010]. Будучи написана хорошим научным языком и не лишенная художественных достоинств, она вводит в мир многомерности сознания, с одной стороны, через специфическую парадигму и методы психосемантики, с другой – открывая сложную феноменологию сознания, представленную в широком спектре от обыденного уровня до сферы искусства, от патологии до высокой духовности. Все это не отменяет того факта, что автором книги задается достаточно высокая планка интеллектуальных исканий, и это требует от читателя самостоятельных и серьезных мыслительных усилий.

Один из ходов мысли автора невольно оппонирует представлениям Дэвида Юма, как бы предлагая решение тех проблем, которые поставил, но не решил шотландский философ. Речь идет о ведущей идее В.Ф. Петренко – социальных формах конструирования сознания. Мне это бросилось в глаза в особенности потому, что чтение новой книги В.Ф. Петренко совпало с работой по исследовательскому проекту о Д. Юме, приуроченному к его трехсотлетию юбилею. Шотландский мыслитель был одним из тех, кто наиболее остро поставил проблему сознания как в философии, так и в подспудно формирующейся психологической науке. При этом он выявил тупики этой проблемы, которые и сегодня создают немало трудностей и для философов, и, смею полагать, для психологов. Поэтому, прежде чем вернуться к ключевым идеям книги В.Ф. Петренко, позволю себе сказать сначала несколько слов о Юме.

«Говоря коротко, существуют два принципа, которые я не могу согласовать друг с другом и ни одним из которых в то же время не в силах пожертвовать, а именно: наши отдельные восприятия суть отдельные предметы (*existences*) и наш ум никогда не воспринимает реальной связи между отдельными предметами» [Юм, 2009, с. 379]. Так Юм подытоживает свой анализ сознания в самом конце первого тома «Трактата о человеческой природе». Итог неутешителен. Шотландскому мыслителю трудно обойти несовместимость своих двух центральных утверждений: возможности непосредственного наблюдения отдельных впечатлений и возможности наблюдения того, как они комбинируются, т.е. связываются между собой. Говоря современным языком, *интенциональность* (пусть и не в строгом феноменологическом смысле) сознания, его нацеленность на объект никак не согласуется с его *рефлексивностью*, способностью управлять сознанием; они противятся друг другу. Первичные данности сознания и его активность, создающая эти данности – вещи, конечно же, трудно совместимые по определению. Они, скорее, онтологически дополнительны в смысле Н. Бора, т.е. исключают друг друга. А без такого совмещения картина сознания остается противоречивой и фрагментарной, в особенности в условиях юмовского отрицания духовной субстанции и мыслящего Я. Попробуем разобраться в причинах этого.

Картина человеческого сознания, по Юму, зиждется на четырех основаниях: 1) индивидуальном субъекте (индивидуализм); 2) понимании сознания из самого себя, его самоочевидности (интроспекционизм); 3) образе сознания как совокупности отдельных восприятий и идей (номинализм); 4) отказе от вопроса о связи сознания и внешней реальности (скептицизм). Следует признать (и это Юм периодически делает сам), что все эти основания несовместимы друг с другом. Так, Юм предпринимает анализ сознания, апеллируя исключительно к *индивидуальному самонаблюдению* и не учитывая ни существование других сознаний, ни процессы коммуникации. Однако ни о каком индивидуальном субъекте не может идти и речь, как скоро понятие субъекта предполагает единство личности, которое Юм последовательно отрицает. Далее, Юм исходит из открытости данных сознания для наблюдения и не видит никаких границ, которые могли бы препятствовать аналитическому проникновению в глубины сознания. И вместе с тем, если учитывать, что восприятия различаются в силе и живости, то тогда могут существовать такие слабые и неотчетливые восприятия, которые практически недоступны для рефлексии. Одновременно границы самонаблюдению ставят некоторые идеи, природа и происхождение которых остаются непонятны. Такова, к примеру, идея причинности, которую не спасает ссылка на привычку воспринимать явления так, как если бы одно было следствием другого. Ведь привычка – это нечто вроде индуктивного обобщения, к которому применима известная «гильотина Юма», согласно которой нельзя с достоверностью заключить от фактов

к понятиям. Одновременно привычка – это наблюдение повторяющейся последовательности восприятий, что, в свою очередь, уже предполагает такие идеи как время и связь, которые обосновать не легче, чем саму идею причинности. Ведь они противоречат юмовскому номинализму, согласно которому каждое восприятие автономно, т.е. порядок и связь восприятий не могут наблюдаться непосредственно, являясь рефлексивным выводом из наблюдений. Наконец, невозможность обоснования какой-либо связи сознания и реальности, с одной стороны, последовательно принимается Юмом. Но если мы имеем возможность отрицать такую связь, это значит, что мы хотя бы разграничиваем эти две автономные сферы, что уже является выходом за пределы сознания. И в этом вопросе Юм сознательно выходит за пределы философии. Реальность – это продукт повседневного сознания, пребывая в котором человек убежден в возможности познания мира и в том, что факты его сознания как-то соответствуют элементам реальности. Сознание же, взятое в качестве предмета философского анализа, не допускает обоснованного выхода за свои пределы, по сути, просто исключая из рассмотрения всякую онтологическую проблематику.

Важнейший итог юмовского анализа сознания состоит в том, что он исчерпал все возможности индивидуалистической интерпретации сознания, приведя к феноменалистической картине не связанных друг с другом ментальных состояний. Во многом именно феноменализм Юма как последний результат радикальной картезианской редукции и становится объектом рецепции современной феноменологии³. Юм показал на своем собственном примере тщету всех попыток обосновать сознание изнутри, из себя самого, как форму самодостаточной «субъективной реальности». Кстати, понятию «субъективной реальности» некоторые авторы придают большое значение, полагая, что оно как-то способствует разгадке тайны сознания и даже призвано заменить последнее. Эту «последнюю субъективность» Юм характеризовал как способность непосредственного восприятия своих ментальных состояний и способность их комбинирования. Он считал эти черты сознания фундаментальными и далее необъяснимыми.

Дальнейшее развитие философии, психологии, нейрофизиологии и целого ряда гуманитарных наук привело к важнейшим результатам именно с помощью определенных процедур редукции ментальных состояний к поведенческим актам, формам телесности, языку, коммуникации, артефактам культуры. Субъективный остаток, в принципе недоступный опредмечиванию и редукции, представляет собой, по сути, результат неспособности сознания справиться с хаосом бессмысленных восприятий. Однако эта беспомощная явленность сознания для человека – отнюдь не единственный и не последний результат интроспекции. Именно

³ Юм и феноменология – одна из основных тем Юмовской конференции (37th International Hume Conference, University of Antwerp, Department of Philosophy, Belgium, July 6-10, 2010). Об отношении феноменологов к наследию Юма см., напр.: [Mall, 1973].

данность сознания как «своего другого», как нечто чуждого, как своего предмета и должна наводить на мысль о том, что сознание – продукт не себя самого, не функция серого вещества, но результат контакта как минимум двух субъектов коммуникации⁴. Когда грудной ребенок, еще не обладающий сознанием Я, сталкивается (при внезапном пробуждении, падении с дивана или иной травмирующей ситуации) с неуправляемым и потому болезненным хаосом своих восприятий, он требует контакта с взрослым, который для него выступает критерием реальности и источником трансцендентальной апперцепции. Супер-эго Фрейда рождается до субъективного Эго и даже порождает последнее как свой уменьшенный аналог. Человек создается по образу и подобию Бога. Культура творит личность. Все это – формулировки одного и того же. Только посмотревшись в другого как в зеркало («зеркало Я»), можно увидеть, точнее, создать себя. Сознание есть не продукт эволюции мозга, организма в целом, но функция коммуникации. Оно зарождается не «внутри», не в голове, но «снаружи», в общении с другими. И это справедливо как для фило-, так и для онтогенеза.

Идея Л.С. Выготского о знаковом опредмечивании психики как условия ее развития вносит вклад в решение этой фундаментальной проблемы, которая обнаруживает актуальность и для современной эпистемологии, и для целого блока наук, изучающих познавательный процесс (истории науки, лингвистики, социологии, этнографии). Это решение заключается в принципиальном пересмотре соотношений понятий «внешнее – внутреннее» и «социальное – психическое». Л.С. Выготский даже рискует сформулировать нечто вроде универсального закона культурного развития, или развития психических функций, или эволюции сознания. «...Всякая функция в культурном развитии ребенка [но также и в филогенезе – *И.К.*] появляется на сцену дважды, в двух планах, сперва – в социальном, потом – психологическом, сперва между людьми, как категория интерпсихическая, затем внутри ребенка [человека вообще – *И.К.*], как категория интрапсихическая. ... За всеми высшими функциями, их отношениями генетически стоят социальные отношения, реальные отношения людей» [Выготский, 1983, с. 145; Касавин, 2009].

Отсюда и подход к сознанию не как к тому, что «внутри головы», а как к (символическому, языковому, культурному) отношению между людьми при посредстве изобретаемых ими средств (знаков, инструментов, артефактов культуры). В таком случае нет нужды в «расшифровке мозговых кодов» для понимания тайны сознания, в первую очередь, его высших проявлений. Естественно, сознание зависит от мозга, мозг зависит

⁴ Рассмотрение проблемы другого сознания должно начинаться не с уточнения понятия сознания как такового, но с анализа понятия «Другой», производным от которого сознание и является, как понял уже Фихте, но до сих пор не отказываются осознать такие мыслители как Д.И. Дубровский и ему подобные.

от сознания. Мозг – это «внутренняя часть» сознания; деятельность и коммуникация – его «внешняя часть». Но разве для психологии и философии может существовать нечто «посередине», нечто «чисто ментальное», такая «субъективная реальность», которая была бы недоступна объективации, трансляции и редукции? Юм отчетливо выражал эти сомнения, ссылаясь на «привычку» (по существу, индуктивную историю индивидуальной психики) как на объяснительный принцип феноменов сознания. «Сами по себе», т.е. вне онтогенеза, коммуникации, деятельности, у человека есть лишь смутные психические состояния, нормальное существование которых требует внешних – культурных – форм.

Именно поэтому столь трудной для решения оказывается пресловутая проблема *qualia*, которая в истории философии известна как проблема «вторичных качеств». В самом деле, описать свои состояния сознания, относящиеся к восприятию, бывает весьма затруднительно. Это показывают сложности диагностики внутренних заболеваний по самоотчетам пациента, когда нужно артикулировать ощущения собственного тела (в том числе проприоцептивные ощущения); об этом свидетельствует невыразимость в языке многих контактных ощущений – вкусов и запахов. Поэтому не следует поддаваться иллюзии, что сознание можно понять только из него самого, путем интроспекции. Полагаю, что нельзя понять его также лишь из морфологии и функционирования мозга. Нужно изучать, в первую очередь, *социальные формы конструирования сознания*, данные нам в качестве культурных объектов – для понимания коллективного сознания (в этом идея «Психологии искусства» Л. Выготского), или представленные в индивидуальных формах деятельности и коммуникации – для понимания индивидуального сознания, как делают, например, психоаналитики и психолингвисты. Это и есть вывод, перед которым остановился Юм и к которому пришло, на мой взгляд, современное развитие философии и специальных наук. Он обладает позитивной методологической ценностью для психологии и одновременно указывает место паразитирующим на нейронауке философам-натуралистам, ограничивая их претензии на объяснение сознания.

Это отступление показалось мне нелишним в ходе размышления о книге В.Ф. Петренко, поскольку очерчивает оппонентный круг автора. Книга репрезентирует научное направление, которое В.Ф. Петренко развивает уже многие годы. Особенность этого направления состоит, среди прочего, в том, что оно удивительным образом совмещает в себе внимание к феноменам сознания, как они даны субъекту, который их артикулирует, и одновременно – к социальным механизмам, которые конструируют эти

феномены, так сказать, «извне». Тем самым, как мне представляется, в значительной мере решается (и одновременно переосмысливается) проблема Юма, о которой шла речь выше – несовместимость данности и активности в сознании. Еще один момент, который бросается в глаза при чтении указанной книги – в ней фокусируются конфликтующие научные традиции и отображаются самые острые дискуссии современности.

В наши дни психология представляет собой область знания, в которой сосуществуют и конкурируют множество направлений и течений – от обновленных версий структурализма, функционализма и психоанализа до бихевиоризма, когнитивизма, гуманистической психологии и пр. При этом она до сих пор не окончательно разорвала связи, соединявшие ее с философией, и многократно упрочила взаимодействие с широким кругом естественно-научных (биологией, нейрофизиологией, информатикой) и социо-гуманитарных (социологией, лингвистикой, этнографией, педагогикой) дисциплин.

Современная психология – в подлинном смысле *междисциплинарное исследование*, требующее от ученого обширной эрудиции и технической осведомленности. Однако теоретическое осмысление своей деятельности у психологов, как и у многих других специалистов, отстает от практики, что порождает противоречивую и изменчивую картину психологического знания, вызывающую определенную неудовлетворенность. Впрочем, представители этой дисциплины всегда проявляли завидную самокритичность и неустанно твердили о «кризисе в психологии». При этом предлагались и до сих пор предлагаются решительные меры по выходу из кризиса путем создания «подлинно научной» психологии или, напротив, объединения психологии с искусством или даже с религией.

Известный британский философ и психолог Р. Харре так характеризует современное состояние психологической науки: «По-видимому, с началом XXI века противоречивая и нестабильная дисциплина “академическая психология” распадается на две различных и абсолютно несравнимых между собой области. Дискурсивная психология концентрируется на использовании значения в мире норм, в то время как нейропсихология – на исследовании процессов в мозге, слабо связанных с интуитивно определяемыми когнитивными процессами» [Харре, 2005, с. 138]. Однако современная ситуация на поверку есть своеобразное воспроизводство тех контроверз, которые уже более полувека тому назад выявил Л.С. Выготский. Обращая внимание на «роковую для всей эмпирической психологии проблему объяснения», он указывал на противостояние понимающей психологии и психоанализа как своего рода метафизического и натуралистического подходов [Выготский, 1983, с. 20], а также на раскол психологии вообще на два лагеря, характеризующиеся соответственно социокультурной и естественно-научной ориентациями.

В этом своеобразном кризисе выразилось расхождение между учеными по поводу фундаментальной философско-психологической проблемы. Так, и в то время, и сегодня по-прежнему остро стоит проблема понимания того, что такое сознание. Может ли оно быть понято в терминах нейрофизиологических и вычислительных процессов, возможен ли «язык мысли»? [Fodor, 1975]. Или значительно более значима связь психических явлений, происходящих в человеческом мозгу, с деятельностью человека в предметном мире?

Контекст существования психологической науки не только необходимо учитывать, читая новую книгу члена-корреспондента РАН В.Ф. Петренко. Этот контекст присутствует в ней и в скрытом, и в явном виде, оттеняя аргументы и мотивы той полемики, которой пропитаны все главы. Так, автор с сожалением констатирует утрату большинством современных психологов «сверхзадачи»: «На смену творцам и мыслителям, занятым служением науке, приходят “специалисты” и профессионалы, имя которым – легион, занятые обслуживанием клиента. Произошло значительное смещение акцентов от решения проблем самой психологической науки... к решению массовых прикладных задач типа: психодиагностика и ассесмент сотрудников фирм и предприятий; формирование имиджа политика, товара, фирмы; психотерапия или психокоррекция пациента» [Петренко, 2010, с. 48].

Отсюда потребность автора в сознательном воссоздании контекста – социального, культурного, научного, личностного – развития психологической науки в том виде, в котором она существовала в доперестроечные времена. И он применяет свой метод *психосемантического анализа* к реконструкции места школы выдающегося советского психолога А.Н. Леонтьева (одним из наиболее талантливых учеников которого является В.Ф. Петренко) в мировой психологии. Не вдаваясь в методологические детали психосемантики, отмечу, что в данном случае В.П. Петренко выделяет основные психологические концепты, определяющие исследовательскую стратегию школы Леонтьева в парном сопоставлении с иными психологическими школами (базисные «конструкты») и позволяющие осуществить шкалирование всех психологических школ по степени выраженности конструкта. Полученная матрица данных подвергается затем процедуре факторного и кластерного анализа. Результатом является построение семантического пространства, отражающего внушительное место школы А.Н. Леонтьева в панораме психологии XX в.

Мировой уровень российского психологического наследия в сравнении с современным состоянием науки подводит автора к необходимости укрепления статуса психологии и науки в целом в ментальном пространстве современного российского общественного сознания. «Восприятие науки как некой трансцендентальной ценности и служение ей кажется мне

отличительной чертой и наших отцов-основателей отечественной психологии, – пишет В.Ф. Петренко. – Продолжая их дело, мы должны сохранить то особое корпоративное самосознание как принадлежность к особому сообществу избранных, помогающих обществу и отдельному человеку осознать самих себя» [Петренко, 2010, с. 49]. Так с самого начала В.Ф. Петренко задает масштабную систему координат, пространство собственных размышлений и оценок как фон той самой психосемантической парадигмы – программы, заявленной в подзаголовке книги.

Исходным пунктом этой программы является интегральное понятие картины мира, выступающее в рамках психологии как *картина жизненного мира человека* – совокупность моделей различных аспектов действительности, данных сквозь призму научных, обыденных, религиозных и прочих форм сознания, нагруженных личностными смыслами и эмоциональными состояниями. Такого рода картина характеризует прежде всего коллективное сознание группы или целой эпохи, одновременно через набор базисных смыслов-конструктов задавая смысл и значение образам и понятиям индивидуального сознания. Экспериментальная психосемантика, наследуя ряд понятий и методов мировой психологии, является именно той областью, которая изучает картину мира индивидуального или коллективного субъекта. Будучи направлена на анализ *форм существования значений* в человеческом сознании, психосемантика опирается на методологию школы Выготского – Леонтьева – Лурии и при этом заимствует технический инструментарий американской психологии (метод семантического дифференциала Ч. Осгуда, метод репертуарных решеток Дж. Келли), а также аппарат многомерной статистики для выделения категориальных структур сознания.

В.Ф. Петренко подчеркивает, что способы категоризации суть прежде всего *социальные формы конструирования сознания* каждого отдельного человека, формы существования типического в индивидуальном. В этом смысле они как бы навязываются сознанию извне, из чего некоторые исследователи делают вывод о том, что познающий субъект – своего рода индуктор, воспринимающий готовые и вечные идеи из некоего их резервуара. Автор расходится с этой позицией, утверждая, что формы всеобщности не только культивируются вовне головы, но и конструируются отдельным человеком в процессе общения и деятельности. Более того, размерность категориальной матрицы может существенно меняться в зависимости от ее аффективной нагруженности: пространство и время индивидуального сознания пульсируют, сжимаются и расширяются, субъект переходит с одного уровня осознания на другой под влиянием эмоционального состояния. Мыслящий субъект является, таким образом, носителем уникального психосемантического

пространства, сам конструирует свою картину мира, а не принимает ее в качестве готового продукта общества и культуры. В противном случае можно было бы ограничиться анализом коллективного сознания, как происходит в классической психометрике, редуцирующей индивидуальные данные к статистическим нормам.

Субъект вообще неотделим от своего знания, которое не может быть полностью смоделировано техническими средствами; всегда существует зазор, описываемый такими понятиями, как «воля», «свобода выбора», «возможность духовного развития», «творчество». Это обстоятельство отличает тот образ знания, который сложился в психосемантике как в гуманитарной науке, от представлений о знании, бытующих в среде естествоиспытателей. Психология, несмотря на использование точных методов, остается наукой гуманитарной, и ее предметом является знание в форме понимания, знание, неотчуждаемое от постоянной эволюции самого субъекта. Не только и не столько «объективные данности» сознания, сколько веер возможностей, открывающихся человеку, проектирующему самого себя – вот что пытается ухватить психосемантика. «Картина мира, таким образом, раскрывается через становление самого субъекта в широком контексте его смыслообразования “еще не ставшего бытия”, в контексте мало изученной категории “судьбы”, а может, и в ее преодолении. Ибо эволюционируют не только наши знания о человеке, но и он сам в ходе осознания самого себя», – утверждает В.Ф. Петренко [Петренко, 2010, с. 86].

С этих позиций автор включается в дискуссию о природе истины, развернутую в журнале «Психология», и заявляет свою точку зрения относительно природы психологического знания, методов психологического исследования, теории отражения и понятия психологической реальности. Сложность сознания как многомерного феномена, отмечает В.Ф. Петренко, выражается в многообразии психологических теорий и методов, которые фактически имеют дело с разными объектами исследования. Так, психофизику отделяет от социальной психологии значительно бóльшая дистанция, чем социальную психологию от социологии. Поэтому и методологические проблемы и понятия обретают в отдельных областях психологического знания разное значение. В.Ф. Петренко оспаривает тезис о возможности построения своего рода «методологической вертикали» для единственно правильной теории (В.М. Аллахвердов). Из этого жесткого тезиса вытекает, что не могут быть одновременно верными бихевиоризм, психоанализ, теория деятельности, когнитивизм и гуманистическая психология; истинным может быть в лучшем случае лишь один из этих способов описания сознания. Но так ли это на самом деле?

Конечно, понятна озабоченность некоторых психологов методологическим кризисом в современной психологии и, в частности, проблемой объективных критериев научных достижений. Однако

принятие в психологии концепции единственной истины как соответствия знания реальности не ликвидирует эти трудности и не позволяет однозначно отсечь от науки графоманов, шарлатанов и безумцев. Ведь новая идея нередко выглядит достаточно «безумной» (Н. Бор), чтобы ее отвергнуть; ей часто не хватает эмпирического подтверждения и системной строгости, но немедленное объявление ее ложной затормозит прогресс науки. Достоверность знания подтверждается *системой многообразных критериев*, которые обычно используются в естествознании, но для гуманитарных наук требуется и ряд дополнительных. Это связано с тем, что в психологии, в частности, исследуется не просто саморазвивающийся объект, но такой, который может изменяться под влиянием самого процесса исследования. Человек – это проект, ориентированный моделью потребного будущего (Н.А. Бернштейн), и потому «описывать человека “как он есть на самом деле” (мы же не физики, а психологи) так же неразумно, как пересказывать содержание романа, прочитав только начало», – иронически замечает В.Ф. Петренко [Петренко, 2010, с. 96]. И говорить о поиске истины, как будто она существует где-то за пределами самого исследования, в объективном мире, представляется не просто упрощением, но искажением картины психологического знания. Есть основания полагать, что и в физике, умудренной опытом квантовой механики, также приходится говорить об истине не как отображении реальности самой по себе, но как производной от определенных экспериментальных ситуаций и математических моделей.

«Необходимость концептуального анализа базовых понятий, требующая совместной работы психологов, лингвистов и логиков [замечу от себя – и философов – *И.К.*] ... мало осознается подавляющим большинством отечественных психологов, стоящих на позиции наивного реализма и бездумно оперирующих понятиями “объективная действительность”, “психологическая реальность” как некоей непосредственной психологической данностью», – с сожалением заключает В.Ф. Петренко [Петренко, 2010, с. 102].

Обсуждение методологических проблем науки приводит автора к необходимости обоснования конструктивистской парадигмы в современной психологии и, в частности, психосемантики как ее последовательной реализации. Замечу, что философы обычно понимают конструктивизм как направление в эпистемологии и философии науки, в основе которого лежит представление об активности познающего субъекта, использующего специальные рефлексивные процедуры при построении (конструировании) образов, понятий и рассуждений. Таким образом, конструктивизм представляет собой подход, согласно которому всякая познавательная деятельность является конструированием; это – альтернатива любой метафизической онтологии и эпистемологическому реализму.

Соглашаясь в основном с этой позицией, В.Ф. Петренко предпринимает последовательную критику теории отражения, исчерпавшей себя применительно к анализу сознания. Автор показывает, что уже выдающиеся советские физиологи и психологи (Н.А. Бернштейн, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев) фактически отказывались от нее, вводя такие понятия, как уже упомянутая «модель потребного будущего», «бытие», «образ мира». Тем самым «объективный метод» в психологии уходил от сведения всего содержания сознания к физиологическим коррелятам психических процессов. В предлагаемом психологами и философами понятии «психическая реальность» (В.П. Зинченко, М.К. Мамардашвили) акцент смещается с субстанциалистской трактовки объективного как доступного остенсивным определениям к функционально-операциональному определению реального как опосредующего индивидуальную психику и деятельность.

В современной конструктивистской психологии, берущей начало от теории личностных конструкторов Дж. Келли, познающий субъект, подобно ученому, выдвигает и проверяет альтернативные гипотезы о мире, и поведение субъекта рассматривается не как реакция на внешние стимулы, а скорее как вопрос, поставленный миру. Аналогично и анализ психики реального человека или группы не может осуществляться иначе как с помощью конструирования присущего им образа мира и затем тестирования его в процессе коммуникации психолога и исследуемого субъекта. Тем самым психология примыкает к междисциплинарной методологической программе конструктивизма, которая коренится еще в трудах Евклида, И. Канта, Г. Фреге и Г. Динглера и сегодня находит распространение в самых разных науках о природе и обществе. Более того, В.Ф. Петренко на примере анализа идей К. Маркса и З. Фрейда показывает роль их идей «в порождении и конструировании социального бытия, где они интерпретируются не как формы отражения, а как некие возможные модели бытия, оказывающие обратное влияние на само описываемое бытие» [Петренко, 2010, с. 122]. В этом смысле концептуальные конструкции, являясь плодом работы теоретика, не только позволяют систематизировать и категоризировать эмпирические данные, но и создают сами условия их получения, а будучи усвоенными культурой, становятся рельсами, по которым движется история.

Рискну в нескольких пунктах подытожить основные философско-методологические постулаты психосемантики. Ясно, что в ней реализуется деятельностный подход, сложившийся в российской психологии и философии XX в. Этот подход объединяется в психосемантике с идущим от М.М. Бахтина коммуникативно-семиотическим и культурно-историческим пониманием сознания, в котором «субстратом» сознания является система значений, данных в единстве с чувственной тканью и личностным смыслом. Причем сами значения выступают в качестве

свернутой, превращенной формы деятельности, которая не подлежит простой лингвистической интерпретации, но оценивается в режиме искусственных, экспериментально заданных действий испытуемого.

Далее, психосемантика изучает сознание человека как пристрастного субъекта познания и деятельности, в картину мира которого включены его язык, культура, система индивидуальных и коллективных ценностей, т.е. его «мир существования как мир человеческого страдания» (С.Л. Рубинштейн). Такого рода исследование строится не столько как описание некоей реальности, сколько как ее создание, конструирование возможных миров, в которые вписывается и образ (реконструкция) самого человека. Используя субъективные семантические пространства как операциональные модели индивидуального и общественного сознания, психосемантика совмещает *когнитивистские и интуитивистские подходы в психологии*. Так, если само семантическое пространство конструируется с использованием многомерной статистики, факторного и кластерного анализа, то обобщение исходного материала, а также последующая интерпретация результатов осуществляются путем обращения к методам понимания и эмпатии – интуитивного и интроспективного вслушивания и вчувствования в переживания испытуемого. Математические процедуры в психосемантике не имеют своим предметом сознание «как оно есть», но лишь подготавливают информацию в компактной и структурированной форме, которая подлежит процедуре герменевтической интерпретации. Как пишет В.Ф. Петренко, «облако смыслов субъекта по поводу объектов некоторой содержательной области (коннотативных значений), представленное в форме координатных точек в семантическом пространстве, не описывает некий объект анализа, а представляет собой, скорее, ориентировочную основу для эмпатии, встраивания одного субъекта в сознание другого» [Петренко, 2010, с. 196].

Наконец, психосемантика принимает принцип множественного описания сознания («картины мира») в зависимости от позиции наблюдателя, а также принцип многообразия, сценарного проектирования и прогнозирования применительно к развитию сознания как отдельного человека, так и группы (нации, государства). Методологический аппарат психосемантики, будучи достаточно сложным, ориентируется на изучение еще более сложных саморазвивающихся систем с обратной связью, которой и является человеческое сознание в контексте деятельности и общения.

К сожалению, я не могу в равной мере уделить внимание всем главам книги В.Ф. Петренко, однако нужно отметить, что добрая половина текста содержит конкретные приложения психосемантического метода к исследованию самых разнообразных объектов. Здесь и кросс-конфессиональная религиозная картина мира, которая сопрягается с проблематикой террористической угрозы; и психосемантика массовых

коммуникаций; и исследование идеологических процессов; и анализ художественной литературы и живописи; и изучение измененных состояний сознания и медитации. Автор представляет психосемантику как синтетическую психологическую науку междисциплинарного типа, использующую современные методы точного исследования, вдумчивый концептуальный анализ и творческое воображение для обращения к животрепещущим проблемам современности. Читать книгу не только поучительно, но и интересно, ибо в ней присутствует подлинное свидетельство научного поиска – элементы острой дискуссионности и стилистической неотшлифованности.

Заключение

Среди множества тайн, над которыми бьются ученые, проблема человеческого сознания находится вне конкуренции. Ведь именно благодаря сознанию нечто вообще может стать тайной или, говоря словами Иммануила Канта, заставить человека поражаться совершенству окружающего мироздания и присутствию морального закона в нем самом. Всякая тайна пробуждает неустанное любопытство и творческое воображение, без чего нет научного поиска. Даже оставаясь неразгаданной, она приводит человека на путь открытий, на дорогу познания того, что может быть познано и поставлено на службу обществу.

Автор этих строк уделил такое внимание книге В.Ф. Петренко в силу особого обстоятельства. Как верно отметил А.М. Улановский, один из учеников В.Ф. Петренко, книга представляет психосемантику «не просто как *область исследований и методологию*, но как *подход к сознанию и как определенную эпистемологическую позицию*» [Петренко, 2010, с. 428]. Психосемантика, соединяя в себе разные методы исследования, предстает здесь как отражение состояния современной психологии, в которой сосуществуют когнитивизм и психоанализ, культурно-исторический подход и проблематика искусственного интеллекта, психофизика и дискурс-анализ. Среди достоинств книги и то, что она побуждает к постановке ряда вопросов, далеко выходящих за ее пределы. Например, в какой степени совместимы и взаимодополнительны результаты шкалирования, факторного и кластерного анализа, обработанные с помощью методов математической статистики, с одной стороны, и методы интерпретации результатов, призванные учесть реальную содержательную и во многом неосознаваемую сложность картины жизненного мира и эмоционального состояния индивида, с другой стороны? Эта проблема иллюстрирует главные методологические полюса концепции В.Ф. Петренко, но, конечно же, остается без окончательного ответа, ориентируя на дальнейшие исследования.

Сознание – явление многомерное до неисчерпаемости, это целая вселенная, «universe of the imagination», по выражению Д. Юма, и в его познании переплетаются точные методы и эмпатия, логика и интуиция, наука и искусство.

Глава 2

Проект научной философии и историческая эпистемология

Т.Д. Соколова

Предметом исторической эпистемологии, как следует из самоназвания этой философской дисциплины, является наука в ее историческом становлении. В этом отношении пусть и на новых теоретических основаниях она наследует проектам философии науки XIX в., выросшим из исследований истории развития научных дисциплин. Выбор истории науки в качестве предмета для философской рефлексии в своем основании опирается на два базовых постулата, в той или иной степени сформулированных в рамках проекта научной философии, предложенного Абелем Рейем в начале XX в.: 1. отказ от метафизики как от устаревшей/примитивной/безосновательной/догматичной формы философского познания и 2. отказ от логики или унифицированной методологии как от попыток философии навязать научным дисциплинам нормативную модель развития, которая не отражает сути научного поиска. История науки становится единственно возможным предметом исследования эпистемолога, т.к. позволяет ему, подобно ученому, работать в «лаборатории», т.е. исследовать познание через изучение продуктов рациональной деятельности ученых. Отныне философское познание уже нельзя упрекнуть в безосновательности – развитие научных дисциплин в исторической перспективе является эмпирическим подтверждением развития познания и разума, т.е. прогресса познания. Присоединяясь к этому прогрессу, философия стремится закрепить за собой эпистемический статус дисциплины, способной на производство нового знания о мире, причем знания столь же обоснованного, пусть и не столь точного, как естественно-научное знание. Тем не менее в рамках исторической эпистемологии существовали разные направления, конкурирующие за определение роли истории науки для философа. В этой главе мы рассмотрим проект научной философии Абеля Рея в качестве истока двух версий исторической эпистемологии: «классической» – Гастона Башляра, и «маргинальных» – Эмиля Мейерсона и Элен Метцжер; проанализируем их основные теоретические положения и расхождения в видении философского исследования научного познания.

Ключевые слова: историческая эпистемология, история науки, философия науки, проект научной философии, Абель Рей, Гастон Башляр, Эмиль Мейерсон, Элен Метцжер.

Современная историческая эпистемология является одним из направлений философской мысли, находящимся на стыке двух дисциплин – эпистемологии, исследующей познание вообще, и философии науки, предмет которой ограничивается исключительно научным познанием. В рамках аналитической философии, где разделение между эпистемологией и философией науки проводится довольно четко и строго (если первая исследует познание как отдельный вид человеческой деятельности, используя в основном формальный инструментарий, то философия науки обращается к непосредственному содержанию научных исследований в конкретных научных дисциплинах), историческая

эпистемология оказывается в затруднительном положении. С одной стороны, она претендует на описание и объяснение познания вообще в исторической перспективе, с другой – предметом ее исследования являются научные теории прошлого, и на методологическом уровне постулируется отказ от формальных методов исследования. В этой главе я обращаюсь к французской традиции исторической эпистемологии и к ее формированию в качестве самостоятельной философской дисциплины с точки зрения ее генезиса, а также к основным направлениям и теоретическим подходам, развивавшимся в первой половине XX в. В качестве ответа на «кризис философии», в ходе которого философия стремилась вернуть себе статус «венценосной дисциплины», утерянный ею на фоне бурного развития естественных и математических наук. Здесь я постараюсь показать, что историческая эпистемология как философская дисциплина, исследующая познание, наследует проектам философии науки XIX в., выросшим из исследований истории развития научных дисциплин.

Историческая эпистемология в ее французской версии представляет собой специфическое философское течение, которое можно охарактеризовать как национальное. В отличие от англо-саксонской и немецкой эпистемологий основным предметом исследования французской исторической эпистемологии становится научное познание, причем, как это следует из названия, в исторической перспективе. Жан-Франсуа Бронштейн, предложивший концепцию «французского стиля» в эпистемологии, дает следующую ее характеристику: «[Французская эпистемология] отталкивается от рефлексии над наукой; эта рефлексия – историческая, эта история – критическая, и эта история в равной степени является историей рациональности» [Braunstein, 2002, p. 923].

История науки в качестве предмета для философской рефлексии, в свою очередь, опирается на два теоретических постулата, в той или иной степени разделяемых большинством исследователей, работающих в рамках этого направления. Первый постулат, наследующий позитивистской философии, заключается в отказе от метафизики как от устаревшей/примитивной/безосновательной/догматичной формы философского познания. Кроме того, метафизика как раздел философии становится «эпистемологическим препятствием» для ученого, диктуя ему если не ложную, то по крайней мере бездоказательную картину мира, исследовать который стремится наука. Второй постулат в методологическом отношении тесно связан с первым и заключается в отказе от логики или унифицированной методологии как от попыток философии навязать научным дисциплинам нормативную модель развития, которая не отражает сути научного поиска. Таким образом, единственным доступным философу предметом исследования человеческого познания становится история науки: существование науки признается как данность и неопровержимый факт, а история науки в качестве фундамента для

эпистемологии как философской дисциплины приводит к тому, что «французская эпистемология не задается вопросом об основании науки. В этом отношении существует только один авторитет – сама наука в ее истории» [Braunstein, 2002, p. 928]. История науки дает философу возможность, подобно ученому, работать в «лаборатории», т.е. исследовать познание через изучение продуктов рациональной деятельности ученых. Отныне философское познание уже нельзя упрекнуть в безосновательности – развитие научных дисциплин в исторической перспективе является эмпирическим подтверждением развития познания и разума, т.е. прогресса познания. Присоединяясь к этому прогрессу, философия стремится закрепить за собой эпистемический статус дисциплины, способной на производство нового знания о мире, причем знания столь же обоснованного, пусть и не столь точного, как естественно-научное знание, и преодолеть кризис внутри самой философии хотя бы в границах одной философской дисциплины.

Кризис философии и философские исследования науки

Философия науки в качестве самостоятельной дисциплины, по наблюдениям социологов философии, выкристаллизовывается из локального кризиса самоопределения философии в целом: «В конце XIX века вопрос о специфике философского дискурса оказывается в центре дебатов: философы посвящают значительную часть своего времени тому, чтобы попытаться определить место своей дисциплины в отношении религии, литературы и наук» [Фабиани, 2004, с. 109]. Именно в этот период формируется основной лейтмотив работ французских исторических эпистемологов, полагающих, что философское знание, в отличие от научного, существенно отстает в объяснении окружающей действительности: «Уже около века... философия отстраняется от науки и не интересуется ее прогрессом» [Couturat, 1896, p. VIII]. Философское образование, некогда фундаментальное, всеобъемлющее и покрывающее любые области знания, отныне переходит в статус недостаточного и устаревшего. По своей структуре этот кризис напоминает кризис гуманистического образования XVII в., когда «новые люди с новыми научными метлами вымели гуманистов с центрального места западной научной мысли» [Grafton, 1994, p. 3]. Философия снова начинает ассоциироваться с изучением старых текстов, которые хотя и расширяют кругозор, но не дают нового знания о мире, и с этой точки зрения становится предприятием пусть интересным, но бесполезным.

Кризис самоопределения философии, связанный с ее изоляцией от естественно-научных дисциплин, развитие которых пошатнуло академический статус философии в качестве науки всех наук, занятие которой не требует дополнительных квалификаций, привел к дискуссиям о необходимости введения дополнительных образовательных программ,

направленных на знакомство преподавателей философии как с современной наукой, так и с ее историей. «В 1895 году Фредерик Раух обращает внимание на “нынешнюю недостаточность научного образования преподавателей философии” и подчеркивает, что было бы полезно попытаться исправить подобное положение. ... Полумера, предложенная Раухом, состоит в том, чтобы обеспечить “философское научное образование”, у которого тройная цель: “познакомить с самыми важными результатами фундаментальных наук, приобщить к пониманию методов и к духу актуальной науки и внести ясность в хрестоматийное изложение вопросов, демонстрируя историю их развития”. Раух подчеркивает, что образование этого типа – сугубо начальное, поскольку оно не требует предварительных научных знаний; он называет его “начальным высшим образованием”. Странное соединение начального и высшего является признаком того, что некоторые философы ощущают бессилие от своего научного невежества: отныне в венценосной дисциплине обнаруживаются зазоры» [Фабиани, 2004, с. 110].

Философия позитивизма и вовлечение в философию исследователей, обладающих компетенциями в сфере «позитивных» наук, с одной стороны, указали на расхождение между академической философией и естественными науками, а с другой – потребовали пересмотра компетенций, которые требуются от философов. «Обычное образование философов не включает в себя ни научной практики, ни, строго говоря, инициации. В конце XIX века были попытки интегрировать в философское образование минимальные отсылки к естественно-научным дисциплинам (требование бакалавриата по естественным наукам или сертификат о прохождении естественно-научного университетского образования для получения разрешения на участие в конкурсе агреже). Клич Башляра о том, что философы должны пройти школу естественных наук, проявляет себя и здесь. Это институционально указывает на не-самодостаточность философского рассуждения. Вопрос о естественно-научных компетенциях философа становится в течение XX века темой педагогических дебатов» [Fabiani, 2010, p. 246]. В этом контексте обращение философов к естественным наукам, вызванное своего рода комплексом неполноценности по отношению к ним, было направлено на то, чтобы если и не вернуть философии прежний статус «венценосной дисциплины» и былую самодостаточность, то хотя бы оправдать ее эпистемическое существование в академии, т.е. сделать возможным появление нового философского знания, отличного от традиционной академической философии.

Позитивистская философия сыграла двоякую роль в формировании исторической эпистемологии. С одной стороны, именно позитивизм и его обращение к идеалам естественно-научных дисциплин лишил философию ее престижного статуса в академии. С другой стороны, именно позитивизм (сначала в версии его основателя Огюста Конта и его последователей)

сыграл решающую роль в возвращении интереса к науке со стороны философов во Франции [Brenner, 2006]. Именно философия позитивизма не только делает науку одним из главных предметов философских исследований, но и закрепляет за ней «ведущую роль во временной и духовной организации человечества» [Parodi, 1930, p. 7].

Первый проект создания кафедры общей истории наук в Коллеж де Франс принадлежал Огюсту Конту и был предложен в 1832 г. Тем не менее реализовать этот проект удалось значительно позже, в 1892 г., последователем Конта Пьером Лаффиттом [Petit, 1995]. Второй институциональной организацией, из которой впоследствии вышли основные представители исторической эпистемологии, стала кафедра истории философии в ее связи с науками под руководством Гастона Мило на базе *Faculté des Lettres de Paris*, бывшая кафедра вспомогательных исторических наук. Создание кафедры, равно как и философский проект Гастона Мило, считается официальным закреплением истории науки в качестве самостоятельной дисциплины во Французской академии, причем в качестве «философской истории науки» [Brenner, 2005, p. 447]. С 1919 г. кафедру возглавляет Абель Рей, который совместно с Элен Метцжер в 1931 г. создает Французскую группу историков науки, которая годом позже образует Институт истории наук (впоследствии – Институт истории и философии науки и техники). Основная задача Института – преодолеть разрыв между учеными и гуманитариями и создать такое пространство, где они могли бы работать совместно [Braunstein, 2006, p. 175]. В 1937 г. Институт публикует свою образовательную программу дипломов, в которой обучающимся предлагается выбор двух опций: «А. Общая история наук: их отношения с историей человеческой мысли и в особенности с историей логической мысли и ее методами. Б. История великих научных теорий: новые аспекты науки – их историческая последовательность и философские интерпретации, их отношения с историей философии, логикой и общей историей цивилизации» [Braunstein, 2006, pp. 179-180].

По замечанию Абея Рея в его ранней работе «Современная философия» (первое издание – 1908 г.), «наиболее важной причиной разрыва между философией и наукой является, без сомнения, та премия, которую философия стала давать невежеству, ибо вследствие успехов знания, знакомство с наукой становилось все более и более трудным. Стать философом сделалось очень легко. Мир внутренний, моральный, относительно которого сведения наши вообще и в особенности сведения точные весьма скудны, дал удобный повод для бесконечной болтовни. Если случайно какой-либо ученый высказывал свое изумление по поводу того, что столько блестящих формул покоится на зыбком песке, то ему немедленно отвечали, что его методы, его потребность в точности, его критерий – все это хорошо для утилитарных и вульгарных исследований»

[Рей, 2010, с. 20]. Преодоление разрыва между философскими и научными исследованиями, в том числе посредством изменения системы философского образования и увеличения взаимодействия между философами и учеными – проект, начатый Реем еще в его ранних работах, стал не только программным теоретическим проектом, но и обрел свою институциональную организацию.

Как и кафедра истории философии в ее связи с науками, так и Институт истории наук стали инструментами подготовки философов новой квалификации, предлагая альтернативу сложившейся в академической философии ситуации, когда от философа не требуется знание современных естественно-научных теорий, а философские исследования науки в основном представляют собой краткую историю научной методологии: «Относительное равнодушие философии к наукам в процессе их становления ясно проявляется в программе философского образования: логика, понимаемая как методология, не относится с необходимостью к научным практикам, потому что она полностью посвящена поиску критерия истинности, независимого от исторических условий производства высказываний. Именно это объясняет, что в учебниках по философии периода Третьей Республики, когда речь заходит о науке, больше всего отсылок к Аристотелю и Бэкону: существует более или менее неизменный корпус цитат, которые можно найти практически везде. Философский дискурс о науке остается одним из наиболее неподвижных. Из ядра философской рефлексии над наукой следует, что научное сообщество остается инертным, ведомым исключительно правилами метода и нечувствительным к истории: наука не знает случайностей» [Fabiani, 2010, p. 244].

Новая модель образования философов, равно как и взаимодействие с учеными, с одной стороны, вводила дополнительные требования к квалификации философа, чем существенно усложняла вход в профессию, с другой стороны, повышала ценность естественно-научного образования: «Философский кредит выплачивается за счет перевода естественно-научного капитала. В то же время не стоит преувеличивать важность двойных учебных программ: они остаются относительно малочисленными, хотя обладание специфическими компетенциями и становится условием для занятий философией науки. Эта тенденция усиливается на протяжении XX века: Жан Кавайес и Альбер Лотман были математиками, Жорж Дюма, Жорж Кангилем и Франсуа Дагоне были медиками» [Fabiani, 2010, p. 247].

Такая структура философского образования и требования к компетенциям эпистемолога послужили основой для формирования проекта французской исторической эпистемологии в том виде, который представлен нам классической триадой «Башляр – Кангилем – Фуко». В рамках данной институциональной структуры развивался проект «научной философии» – проект, ставший теоретической основой для исторических эпистемологов, основные положения которого были

сформулированы Абелем Реем, первым директором Института истории и философии науки и техники.

Отныне относительная сложность получения квалификации эпистемолога по сравнению с другими сферами философского образования, равно как и наличие институциональных структур, направленных на подготовку эпистемологов определенного типа, привела к закреплению исторической эпистемологии как единственной версии эпистемологии во Франции вплоть до 1980-х гг. – периода начала «интервенции» аналитической философии во Французскую академию. Создание философских академических институтов такого типа, равно как требования к квалификации философов науки, по моему мнению, основываются на проекте научной философии Абелья Рея, который не только создал институциональные структуры, сформировавшие французских исторических эпистемологов середины XX в., но и выработал основные теоретические принципы, которые впоследствии были закреплены и развиты в их работах. И главным из этих принципов стала история науки в качестве основного предмета философского интереса, а также критерия философской рефлексии над научным познанием. Именно поэтому исторический подход в эпистемологии можно обозначить, воспользовавшись куновской терминологией, в качестве «нормальной эпистемологии», а формальные подходы, не обращающиеся к исторической практике научных исследований, рассматривать как историческую аномалию. Историческая эпистемология следует за фактическим развитием истории научных дисциплин, не стремясь навязать им общую методологию или свести научное многообразие к единой концепции научного познания, а история наук в данном случае служит ее непосредственным обоснованием. В этом отношении попытка преодолеть кризис философского познания в границах Академии, предпринятая французскими историческими эпистемологами, может считаться успешной: если проект формальной философии науки в англоязычных странах привел к «историческому повороту» и пересмотру постулатов «классической» эпистемологии, то французская эпистемологическая традиция пропустила этот этап в своем развитии.

***Проект научной философии: история науки
как «лаборатория» эпистемолога***

Сегодня Абель Рей рассматривается как философ второго порядка и находится в тени своих более известных современников, однако именно он формулирует в начале XX в. задачу философского исследования познания, закрепляя в качестве предмета философского интереса историю науки: «Философ – это историк современной научной мысли. И он должен быть скрупулезным и верным историком. Эта задача сама по себе весьма

тяжела, так как наука не однолинейна и ее прогресс не однолинеен» [Rey, 1909, p. 472]. Наука представляет собой квинтэссенцию человеческой познавательной деятельности, а содержание научных теорий – ее основным результатом. Поэтому историческое исследование становления научных теорий и развития научных дисциплин становится для философа основным рабочим материалом, анализируя который он может сделать выводы относительно человеческого разума, не полагаясь при этом на бесосновательные метафизические догмы.

Непосредственное исследование принципов человеческого разума (или рациональности), характерное для «старой» философии, объявляется если не невозможным, то по крайней мере необоснованным и теоретически несостоятельным. Тем не менее о разуме можно судить по продуктам его деятельности – научным открытиям и теориям, которые закреплены в текстах книг и экспериментах, которые и составляют эмпирическую историю научной мысли. Аналогичный взгляд на историю науки поддерживал коллега Абея Рея и руководитель диссертации Гастона Башляра Леон Брюнsvик: «Философам нужна “лаборатория”, где они могли бы наблюдать разум за его работой, и такой лабораторией для философа становится история; он утверждал, что история для философа – то же самое, что и лаборатория для ученого» [Chimisso, 2008, p. 84]. Теперь эпистемолог, подобно ученому, работает в своей лаборатории, а не занимается спекуляцией, основываясь на своих собственных представлениях о том, как устроен познавательный процесс.

Задача эпистемолога как историка науки, а истории – как лаборатории философа находит свое окончательное закрепление в работах Гастона Башляра, а его ученик Жорж Кангилем еще более радикализирует тезис о роли истории в эпистемологических исследованиях: «Принципиальная историчность науки у Кангилама также служит своего рода демаркацией: науку от не-науки отличает наличие у первой истории, то есть история науки становится основным конституирующим элементом научного познания» [Braunstein, 2002, p. 933]. Однако общее направление развития исторической эпистемологии, по моему мнению, было сформулировано именно Абедем Реем и его проектом научной философии, на основании которого, собственно, и были выстроены те академические институты, которые позволили сначала Башляру, а затем Кангилему сформулировать свои исследовательские программы.

Философия науки Абея Рея строится вокруг его переосмысления и критики классического позитивизма, а также определения роли философии по отношению к естественным наукам: «Первая задача философии, по единодушному взгляду тех, кого общее мнение считает властителями современной мысли – это “мыслить научно”» [Rey, 2010, с. 22], а «все проблемы современной философии ставятся по поводу науки» [Rey, 2010, с. 37]. Научная философия и философия науки в данном

случае – одно и то же. С одной стороны, наука должна быть включена в сферу предметов философского исследования, а с другой – само философское исследование должно ориентироваться на «добродетели» научной методологии, т.е., по сути, философия должна уподобиться науке: «Философия серьезная, живая, пользующаяся вниманием – это философия науки, научная философия, ибо наука занимает в нашей социальной, моральной и интеллектуальной жизни все более значительное, почетное место» [Рей, 2010, с. 33] .

Различие между философским и научным познанием в данном случае практически устраняется: «Наука не должна отграничиваться от философии ни своим предметом (он у них один и тот же: давать отчет об опыте), ни методом (он должен быть у них одинаковым, ибо научная дисциплина является единственной, которая может удовлетворить наш ум)» [Рей, 2010, с. 251]. И если предмет науки и философии один и тот же, то и цель их совпадает: «Конечной целью философской работы является объяснение вещей» [Рей, 2010, с. 12]. Тем не менее здесь не идет речь о полном отождествлении философии и науки, философия становится своего рода мета-дисциплиной по отношению к естественным наукам, что позволяет ей, с одной стороны, рассматривать науку в качестве одного из предметов своих исследований, а с другой – сохранить (пусть и не без некоторых потерь) свой статус наиболее фундаментальной и всеобъемлющей дисциплины: «Если наука объясняет, философия хочет продолжить еще дальше ее объяснения и, следовательно, объяснить самое науку» [Рей, 2010, с. 15]. Принципиальное различие между философской и научной деятельностью заключается в том, что философия склонна к гораздо более широким обобщениям, которые недопустимы в естественно-научных дисциплинах: «Философскую точку зрения от научной отличает только то, что первая является более общей и всегда представляется немножко в виде авантюры. Она не заботится о скрупулезном и строгом контроле. Она везде желает видеть совокупность и иметь дело с совокупностью. Стремление сразу перескочить к обобщению заводит ее далеко от фактов и от того, что может быть проверено. Речь уже не идет больше о том, чтобы скромно выразить то, что открывает опыт, или ограничиваться гипотезами, которые идут рядом с опытом, исходят из опыта и к нему возвращаются. Бросаются резко в неизвестное, не сохраняя постоянных точек опоры. Этот скачок в неизвестное характеризует философский дух в противоположность духу научному» [Рей, 2010, с. 252]. Поэтому Рей выстраивает своего рода иерархию по принципу доли обобщения, в которой философии науки отводится принципиально важная роль: «Философия по отношению к науке, – к чистой науке по современной терминологии, – желает быть тем же, чем последняя является по отношению к обыденному знанию» [Рей, 2010, с. 15].

В некоторой степени проект Рея представляет собой переосмысление классического позитивизма, т.к. наука здесь представлена в качестве

единственного легитимного способа познания мира: «Одной из существенных задач философии является поддержание той атмосферы обобщений, которая необходима для развития науки, для нормального сохранения и для диффузии научного духа. Она должна будет показать, как и в какой мере наука отвечает или сможет ответить на те человеческие запросы, которые всегда составляли привлекательность философских систем или религиозных верований; и почему на известные вопросы не может быть ответа, раз вопросы эти неправильно поставлены или в действительности совсем не существуют. Она должна будет показать, как и почему научная дисциплина одна способна удовлетворить наш дух в его поисках истины» [Рей, 2010, с. 253-254]. В то же время Рей выступает против неоправданного материалистического редукционизма, свойственного некоторым направлениям позитивистской мысли, который он полагает одним из видов догматизма. Роль философии в данном случае заключается в том, чтобы удержать естественно-научную мысль от укоренения в догматизме такого типа: «Необходимо и необходимо абсолютно, чтобы завоевания науки и научного духа были защищены – в случае надобности вопреки им самим, – от слишком больших и легкомысленных претензий. Ибо необузданная смелость, которую представляют нам, например, некоторые материалистические обобщения, не менее опасна для престижа науки в глазах здоровых и честных умов, чем излишняя робость и приниженность ее в глазах широкой публики» [Рей, 2010, с. 253].

Однако что же содержательно означает стремление «мыслить научно» и почему именно история науки становится здесь основным предметом философского интереса? По мысли Абелья Рея, «в умственной области нужно бороться только с двумя вещами, ибо только они являются вредными: это догматизм и нетерпимость, везде, где бы они ни встретились» [Рей, 2010, с. 8]. Данная позиция идет вразрез со сложившимся в рамках академической философии взглядом на научную методологию как на набор неизменных и устоявшихся методологических принципов, о котором мы упоминали выше. Предположение, что научная методология могла бы быть сведена к простому набору таких принципов, а потому объяснила бы природу научных исследований, ведет к догматизму, который вреден как для философии, так и для самой науки, т.к. извне навязывает ей чуждые способы исследования, игнорируя непосредственные научные практики. Поэтому Рей полагает, что «научная точка зрения должна... отличаться скромностью и не претендовать на непогрешимость, характерную для всякого рода догматизма, против которого она всегда боролась и который часто был столь опасен для нее» [Рей, 2010, с. 8]. В исторической эпистемологии данная точка зрения найдет свое отражение в тезисе о том, что создание общей философии науки невозможно, т.к. каждая научная дисциплина обладает своим

предметом и методологией исследования, который к тому же постоянно развивается. Соответственно, в философских исследованиях речь может идти только о философии отдельных наук.

Попытка избежать догматизма и навязывания науке чуждых ей методологических принципов приводит к тому, что эпистемолог вынужден отказаться от двух классических для философской рефлексии над познанием фундаментов: метафизики и логики. Французская историческая эпистемология, с одной стороны, не принимает догматизм модернистских проектов, стремящихся выработать единые познавательные принципы, основываясь на необоснованных метафизических допущениях, а с другой стороны, не подпадает под влияние логического эмпиризма, т.к. с подозрением относится к жестким нормативным конструкциям, внешним по отношению к научной практике. Единственным возможным полем исследования в данном случае становится история науки, т.к. именно она позволяет провести исследование познавательного процесса, во-первых, содержательно, а во-вторых, в его непосредственной динамике.

Гастон Башляр и концепция исторического разума

Проект научной философии, предложенный Абелем Реем, нашел свое продолжение в концепции исторической эпистемологии Гастона Башляра, окончательно закрепившего это направление философской мысли во Французской академии. Влияние Башляра на французскую философию затрагивало не только эпистемологию⁵. В то же время в своих работах он обращается к педагогике таких дисциплин как физика, химия и математика, к социологии науки, к психологии и т.д. Тем не менее все они исходят из концепции исторического разума, которая, по мнению Башляра, представляет собой рационализм нового типа.

Свою концепцию нового (или сюр-) рационализма⁶ Башляр противопоставляет, с одной стороны, классическому рационализму, а с другой – реализму, который он ассоциирует с «наивными» представлениями о том, что высказывания о мире (даже научные) описывают мир таким, какой он есть. Основной задачей научной философии Башляр полагал «повернуть дух от реального

⁵ Существует два историко-философских подхода к творчеству Гастона Башляра. Т.к. его работы посвящены двум философским дисциплинам – эпистемологии и эстетике, встает вопрос о том, насколько они связаны между собой. В рамках первого подхода все произведения философа рассматриваются как единый корпус текстов и акцент ставится на противопоставлении эпистемологической и эстетической концепций, без которого, по мнению представителей данного подхода, адекватное понимание отдельных моментов каждой из концепций невозможно. Во втором подходе, напротив, постулируется независимость эстетики и эпистемологии, а потому допускается их отдельное рассмотрение. В настоящей работе мы придерживаемся второго подхода. Программные работы Башляра по эпистемологии: «Новый научный дух» (1934 г.), «Формирование научного духа» (1938 г.) и «Философское отрицание» (1940 г.). В целом именно они представляют собой основу эпистемологической концепции Башляра, развиваемой впоследствии не только им самим, но и его учениками.

⁶ Sur (франц.) – над.

к искусственному [artificiel]» [Bachelard, 2004, p. 13]. Аргументы Башляра против реализма напрямую связаны с его аргументацией против классического рационализма. Исследователь творчества Башляра К. Рюби выделяет пять основных пунктов, по которым Башляр критикует позицию классического рационализма [Ruby, 1998, pp. 13-14]. Кратко их можно сформулировать следующим образом:

- (1) идея о чистом субъекте познания, свет разума которого находит истину в разрозненных вещах;
- (2) пред-данность объекта познания;
- (3) наличие в разуме априорных, неизменных и определенных категорий;
- (4) тождество разума самому себе в каждый момент времени;
- (5) постулат единства Науки и, как следствие, унификация научного метода и языка.

Башляр использует несколько терминов для характеристики нового рационализма: сюррационализм, диалектический рационализм, интеррационализм и даже рациональный (или технический) материализм. Новая философия стоит в центре системы, двумя крайними полюсами которой являются реализм и идеализм, которые, по мнению Башляра, представляют собой две изначальные философские установки. Все существующие эпистемологические концепции, по его мнению, тяготеют к тому или иному полюсу. Башляр представляет это на схеме, которую называет «беглой философской топологией» [Башляр, 2000, с. 10-12]:

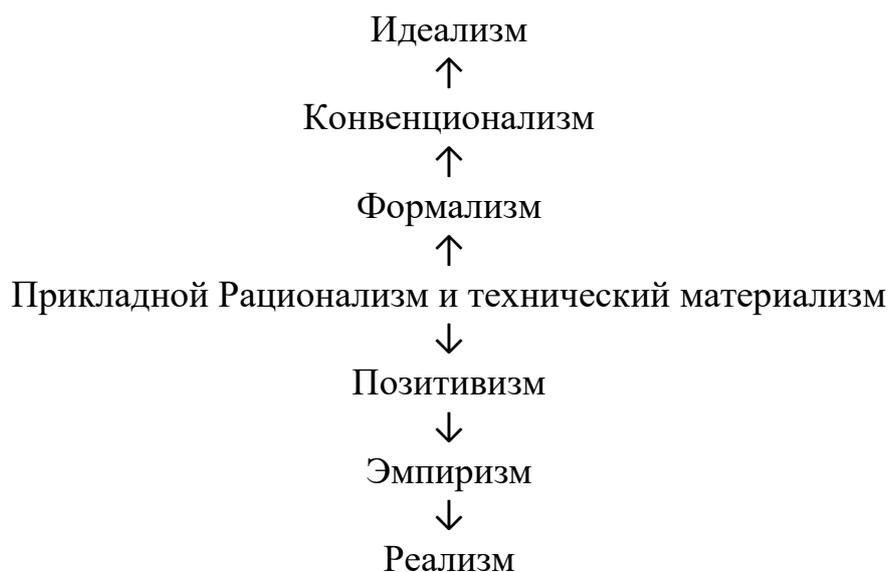


Схема 1

Эта схема показывает «спектр» философских направлений (как в отношении метафизической установки, так и эпистемической установок), который при желании можно расширить, не затрагивая при этом порядка расположения основных полюсов. И в то же время она представляет собой «клавиатуру, на которой играют во время большей части философских споров, касающихся науки» [Башляр, 2000, с. 12].

Башляр не настаивает на том, чтобы новый рационализм занял место всех остальных возможных интерпретаций научного знания: философский плюрализм, постоянно присутствующий в дискуссиях о науке, напротив, более плодотворен, нежели предпочтение той или иной системы, т.к. избавляет разум от догматизма. Тем не менее именно рационализм в его новом понимании (как базовая философская установка и ученого, и философа) занимает центральное место в системе и является связующим звеном между различными философскими направлениями. Кроме того, «тот единственный факт, что мы принимаем рационализм в качестве доминантной философии, в качестве философии научной зрелости, как нам кажется, достаточен для того, чтобы отвести любое обвинение в эклектике» [Башляр, 2000, с. 23].

Но, как замечает Башляр, «дух может изменить метафизику, но не может обойтись без нее» [Башляр, 1987, с. 168]. Невозможность полного устранения метафизики, тем не менее, не влияет на отказ от нее в качестве наиболее фундаментальной философской картины мира. Постулируя плюрализм философских установок, исследователь избегает абсолютизации какой-либо из них, что, в свою очередь, оставляет разум открытым к восприятию возможного нового опыта, не вписывающегося в ту или иную метафизическую картину. В отдельности каждая философская установка является недостаточной для объяснения феномена современной науки: «В реалистском толковании все есть перегиб, гипотеза, беспочвенное утверждение, верование. В рационалистическом понимании все есть конструкция, дедукция, эксплицитное подтверждение, все есть доказательство. Именно на стороне рационализма выдвигаются проблемы, т.е. осуществляется активная наука. Реализм, эмпиризм, позитивизм представляются здесь как безапелляционные ответы, свободные от всяких сомнений, воистину финальные» [Башляр, 2000, с. 171].

Теоретическим основанием всех пунктов критики классического рационализма является базовая предпосылка, на которой строится концепция исторического разума, а именно, что о разуме, познании и знании исследователь узнает только наблюдая результаты процесса познания, наиболее плодотворными из которых являются результаты научных изысканий. На этой предпосылке базируется в том числе и понимание эпистемологии как критической рефлексии над историей науки. Гастон Башляр резюмирует это следующим образом: «Арифметика

не основана на разуме. Это теория разума основана на элементарной арифметике. До того, как научиться считать, я ничего не знал о том, что такое разум. В общем, дух должен покоряться условиям знания. Он должен создавать в себе некую структуру, соответствующую структуре знания» [Башляр, 1987, с. 281].

В этом отношении история науки является историей разума. Поэтому, для того чтобы высказывать суждения о разуме и рациональности, эпистемологу необходимо обращаться к истории науки. На этой же предпосылке основывается разделение задач между философом и ученым. Причем требование научной философии в данном случае ставит эпистемолога по отношению к ученому (неважно, к какой естественно-научной дисциплине он принадлежит) в подчиненную позицию. В рамках концепции исторического разума в задачи эпистемолога не входят определение того, что является знанием или истиной (в формальном отношении), выявление критериев истинности и норм научного исследования, разработка научного метода. Все эти критерии разрабатываются (постулируются) учеными. Истина – это современное состояние научного знания. Это знание не является окончательным и абсолютным, т.к. научный процесс никогда не может быть завершен, но современные достижения всегда находятся на ступеньку выше, превосходя достижения прошлых лет, а не наоборот. «Рационализм не должен заниматься тем, что существует до постулатов» [Башляр, 1987, с. 300], – пишет Башляр.

Тем не менее Башляр предлагает обширное поле исследований для эпистемолога, которое, по его мнению, должно изменить не только эпистемологию как отдельную философскую дисциплину, но и философию в целом: «Философ должен усвоить из развития науки один главный урок, а именно, ему надо было бы понять, что нужно пересматривать саму философию» [Башляр, 2000, с. 312].

Первое, что в данном случае должно подлежать пересмотру – это классическое представление философов о том, что представляют собой разум и процесс познания, т.е. пересмотр доктрины классического рационализма: «Разум, – пишет Башляр, – повторю еще раз, должен подчиниться науке. Геометрия, физика, арифметика суть науки; традиционная доктрина абсолютного и неизменного разума – всего лишь философия. Устаревшая философия» [Башляр, 1987, с. 281].

Программа обновления философии, т.е. создания научной философии, подразумевает под собой обращение к истории науки и ее постоянному пересмотру в отношении современного состояния научного знания. Таким образом, в задачи эпистемолога входят:

(1) Критический анализ научных понятий с точки зрения современного состояния научного знания в отношении (а) их соответствия этому состоянию и (b) смены онтологических установок, из которых

исходили ученые, историки науки и философы, использующие данные понятия (т.н. «эпистемологический профиль понятия»).

(2) Выявление (для последующего устранения) иррациональных факторов, влияющих на развитие научного знания.

(3) Создание на основании результатов исследований (1) и (2) нормативной концепции истории той или иной научной дисциплины, в которой прослеживалась бы иерархия знаний на протяжении ее развития вплоть до современного состояния (рекуррентная история науки). Критериями иерархии в данном случае выступают «рациональные ценности»⁷.

Отказ от понятия *a priori* и эпистемической нормативности в концепции исторического разума обуславливается изменчивой историей научного знания, фальсифицирующей, по мнению Башляра, любые нормативные эпистемологические доктрины. Тем не менее ракурс рассмотрения науки из современности в прошлое не только дает философу и историку критерии, в отношении которых должна производиться оценка исторических фактов, но и накладывает определенные обязательства: «Философия не должна лезть “вперед” науки, чтобы диктовать ей условия. В то же время философия не должна идти “после” науки, размышляя над ее застывшим или устаревшим состоянием» [Braunstein, 2002, p. 927].

Т.е. для адекватной оценки прошлого науки философу необходимо хорошо ориентироваться в ее настоящем, в том, что занимает науку на данный момент. Ракурс из настоящего в прошлое фактически превращает философию науки в оценочную историю науки, а философа – в историка. Тезис Башляра заключается в следующем: историк науки должен ставить себе позитивную задачу (*tâche positive*) описать историю науки такой, какой она должна была бы быть с точки зрения современного состояния научного знания: «История науки всегда должна быть описана как история прогресса знания» [Bachelard, 1972, p. 139]. Т.е. выходящая из-под пера историка история науки «с необходимостью является определением преемственных ценностей прогресса научной мысли» [Bachelard, 1972, p. 138].

Если в рамках классического рационализма предпринимается попытка объяснить содержание науки исходя из абсолютных, необходимых и независимых от эмпирического опыта априорных знаний и эпистемических

⁷ Под «рациональной ценностью» Башляр понимает «меру рационального» той или иной научной концепции. Рассматривая научный факт, эпистемолог должен выделить в нем «меру рационального и эмпирического», потому что «решить научную проблему – значит выяснить ценность ее рациональности» [Bachelard, 1972, p. 89]. Например, таблица Менделеева представляет собой рациональную ценность, т.к. предлагает классификацию химических элементов, которая (а) упорядочивает химические элементы в отношении выделенного критерия, (б) может корректироваться и (с) дает предсказания. В связи с этим Жорж Кангилем указывает на конфликт установок историка, который пытается вывести будущее науки из ее прошлого, и эпистемолога, который «оживляет» прошлое с позиций актуальной деятельности науки [Canguilhem, 1963].

норм, то в рамках концепции классического разума, напротив, сами нормы выводятся из эмпирического содержания истории науки. Поэтому Башляр отказывается от понятия априорности и заменяет его понятием *a fortiori*, (1) указывая на невозможность устранения в рамках эпистемологии эмпирического компонента (истории науки) и (2) подчеркивая принципиальную возможность изменения в рамках любой научной дисциплины ее базовых аксиом и эпистемических норм, посредством которых осуществляется оценка содержания научных высказываний и научное исследование.

Однако история науки, пересмотренная на основании ее современного состояния, вместе с тем привносит в философию и «разрушительный элемент»: «Этот разрушительный элемент – эфемерный характер научной современности. Если следовать идеалу модернистского толка, который я предлагаю истории науки, то необходимо, чтобы история науки часто переделывалась и часто пересматривалась. Фактически это и происходит. Именно требование прояснения историчности науки для современности науки делает историю науки всегда молодой доктриной, одной из самых живых и самых познавательных научных доктрин» [Bachelard, 1972, p. 144].

Постулирование современного состояния научного знания как истинного вкупе с утверждением о принципиальной незавершенности научного процесса и об отказе от абсолютных и необходимых знаний *a priori* оставляют открытой проблему эпистемических норм для философа. Если развитие науки не вписывается ни в одну нормативную программу, выдвигаемую эпистемологией, а эпистемолог в своих исследованиях должен *a fortiori* выводить суждения о разуме и процессе познания из научных данных, которые находятся в постоянном процессе изменения, то не ведет ли это к радикальному скептицизму?

Для Башляра и представителей концепции исторического разума в данном отношении не возникает проблемы. Их аргумент против скептицизма можно назвать прагматическим (в целом это является одной из характеристик «французского стиля» в эпистемологии): наука существует и продолжает развиваться, о чем свидетельствуют новые экспериментальные открытия, появление новых теорий, а также применение результатов научных исследований на практике. Тем не менее кризис башлярдизма, связанный с появлением структурализма и социального конструктивизма, свидетельствует о том, что в теоретическом отношении данный аргумент не снимает проблему нормативности, т.к. не может устоять против различных концепций релятивистского толка. Именно это обстоятельство подчеркивается французскими аналитическими философами, выступающими против концепции исторического разума, полагая, что в своем основании она ведет к релятивизму или скептицизму.

Эмиль Мейерсон: критики и апологеты

Тем не менее не все эпистемологи, которых историки философии записывают в представители исторической эпистемологии, разделяли концепцию исторического разума. В качестве основного теоретического противника программы нового рационализма и концепции исторического разума среди своих современников Гастон Башляр рассматривал Эмиля Мейерсона. Его работы для Башляра продолжают выступать в качестве основного объекта критики даже после смерти самого Мейерсона. Несмотря на то, что Мейерсона часто рассматривают как одного из представителей исторической эпистемологии на основании того, что большинство его работ посвящено истории науки, он не является сторонником концепции исторического разума.

Эмиль Мейерсон (1859-1933), французский химик и философ науки польского происхождения, долгое время оставался в тени своих более влиятельных коллег, таких как Гастон Башляр и Леон Брюнsvик, а впоследствии и их учеников. Несмотря на то, что в философской среде работы Мейерсона получают широкий резонанс сразу после их публикации, в дальнейшем фигура Мейерсона, равно как и его концепция, отходит на второй план, и интерес к его наследию среди философов и историков философии – относительно недавнее явление, во многом связанное именно с началом развития «аналитической» философской традиции во Франции. Оценивая вклад Мейерсона в развитие французской философии с историко-социологической точки зрения, Ж.-Л. Фабиани констатирует, что «Эмиля Мейерсона стоит оставить в стороне, т.к. он был практически самоучкой в науке и никогда не занимал университетских должностей. Однако его труды были немедленно приняты университетскими философами, причем так, что он стал архетипичным “философом”, таким, каким его описал Гастон Башляр в своих критических комментариях. Уже часто отмечалось, насколько трудно французская университетская система признавала работы тех, кто не прошел через национальные образовательные курсы и почести» [Fabiani, 2010, p. 249].

Тот, кому Франция обязана популяризацией термина «эпистемология», был на долгое время забыт и упоминался исключительно как один из представителей устаревшего классического типа философской мысли. Однако в англо-американской философии существовал довольно устойчивый интерес к трудам Мейерсона. Среди наиболее известных его читателей можно выделить Томаса Куна и Уиллadra Куайна. Это обуславливалось, во-первых, тем, что предложенное им понимание эпистемологии, несмотря на связь с историей науки, не отбрасывало возможность исследования тех проблем и вопросов, которые во французской эпистемологии приписывались теории познания и рассматривались как устаревшие. Во-вторых,

историчность эпистемологии Мейерсона сочеталась с тем, что он, в отличие от большинства представителей французской эпистемологии, не отрицал принципиальное значение логики для процесса научного познания. Несмотря на то, что Мейерсона обычно причисляют к французской исторической эпистемологии, он не был сторонником концепции исторического разума, полагая, что законы рациональности остаются неизменными вне зависимости от новых научных открытий и достижений. Стоит отметить, что данный тезис поддерживается и Паскалем Анжелем и является одним из центральных для концепции умеренного рационализма. Таким образом, фигура Эмиля Мейерсона может рассматриваться и рассматривается как фигура «посредника между французской и англо-саксонской традициями» [Bonnet, Laugier, 2004, p. 79].

Ядро эпистемологической концепции Мейерсона заключается в следующем: существует единый разум, главным законом которого является закон тождества, и объективная реальность, состоящая из разрозненных предметов. Таким образом, научное мышление согласует предметы окружающего мира с законом тождества, встраивая их в научные теории, и тем самым придает хаосу реальности порядок. По мнению Башляра, ограничение разума законом тождества не только вгоняет его в слишком узкие рамки, но и не соответствует реальной деятельности современной науки: «В то время как наука, вдохновленная картезианской эпистемологией, связывала сложное с простым, современная научная мысль пытается освоить реальную сложность под обликом простого, изготовленного выравнивающими явлениями; она стремится обнаружить многообразие за обликом тождества, вообразить ситуацию возможности разрушения тождества за пределами непосредственно данного в опыте, слишком поспешно резюмированного в аспекте целостности» [Башляр, 1987, с. 126-127].

Наука, по мнению Мейерсона, не может существовать без веры в объективность и принципиальную познаваемость внешнего мира, ее цель – объяснить этот мир с помощью разума, а «объяснить – значит свести к тождеству» [Gutting, 2001, p. 38]. Мейерсон, как и Паскаль Анжель, придерживается реализма в метафизике. Аргументация Мейерсона была направлена против французской версии позитивизма, отвергающего возможность объяснения феноменов внешнего мира посредством их сведения к цепочке причинно-следственных связей, а также против эпистемологических концепций в идеалистическом ключе⁸. «Исследуя “сочетание атрибутов”, Мейерсон устанавливает, в противовес тому, что провозглашают позитивисты, что утверждение науки о существовании реальности, независимой от наших ощущений, неизменно. Наука требует

⁸ К таковому относится и концепция Леона Брюнсвика, учителя и во многом предшественника Гастона Башляра и концепции исторического разума. Однако если Башляр в своей эпистемологии постулирует метафизический плюрализм, то Брюнсвик остается на позициях идеализма.

понятия вещи, т.к. она исходит из здравого смысла, она не может абстрагироваться от этой метафизики. Отсюда видно, в каком отношении концепция нашего автора отходит как от позитивизма, так и от идеалистической эпистемологии» [Sée, 1932, p. 133].

Разум здесь представляет собой активное автономное начало, а познание (и в этом Башляр солидарен со своим оппонентом) – фундаментальная человеческая потребность. Но реальность «сопротивляется» познанию, и это сопротивление заставляет разум строить новые теории, обеспечивая постоянное развитие научной мысли. Таким образом, Мейерсон предпринял попытку описать науку как бесконечный процесс реализации закона тождества, направленный на объяснение явлений внешнего мира путем дедукции феноменов. Однако, по мнению не только Башляра, но и других критиков Мейерсона, именно это ему и не удалось. «Философия Мейерсона также имеет два полюса: реальность и тождественность [identité]. ... Но в то же время между этими двумя полюсами не чувствуется никакого активного поля. Эти полюса слишком удалены» [Bachelard, 1972, pp. 173-174].

Основания, из которых исходит Мейерсон, по мнению Башляра, делают его эпистемологическую концепцию «закрытой» и неспособной объяснить многие научные явления. Кроме того, сама история науки опровергает эти основания: каким образом всегда неизменный разум может совершать новые открытия и создавать новые теории? И почему, если он всегда руководствуется одним и тем же законом, научные открытия современности не были совершены много веков назад? Поэтому Башляр делает вывод: «Абсолютный разум и абсолютная реальность – два философски бесполезных понятия» [Bachelard, 1972, p. 175].

Концепции Мейерсона и Башляра, несмотря на существенные различия, имеют некоторые общие черты: оба философа согласны с тем, что научное познание – автономная (от этики, эстетики и т.д.) область исследования, что наука – принципиально не завершимое предприятие и что одного эмпиризма недостаточно для объяснения ее принципов.

Однако критика Башляра опирается в первую очередь на работы Леона Брюнсвика, который также развивает динамическую концепцию разума (в отличие от статической мейерсоновской). Он, как Мейерсон и Башляр, разделяет мнение о бесконечности и автономности научного процесса, а также недостаточности эмпиризма, однако полагает, что «не имеет смысла говорить о научных объектах как о независимых от познающего» [Chimisso, 2008, p. 142]. История науки, по мнению Брюнсвика (и этот его тезис впоследствии стал одним из ключевых для концепции исторического разума), дает множество примеров того, что разум не является одним и тем же на протяжении всего своего существования и вовсе не руководствуется одним принципом. Категории, которыми пользуется научная мысль – результат долгого исторического

становления и развития: «Если не существует никаких раз и навсегда данных категорий и если пути нашего рассуждения изменяются, то невозможно произвести общее заключение о разуме, анализируя его только в определенное время и в определенном месте» [Chimisso, 2008, p. 75].

Разум обладает не только способностью к отождествлению, но и способностью различать, и обе эти способности задействованы в научном процессе. Но эти способности не задают жесткой системы формальных категорий, раз и навсегда определяющих законы научной мысли. В концепции исторического разума разум всегда остается открытой структурой, потому что только таким образом можно объяснить новизну тех или иных научных теорий, а также обосновать, почему те или иные открытия были совершены именно в данный промежуток времени. Кроме того, если у Мейерсона разум и опыт были четко разделены, то здесь познание невозможно без постоянного взаимодействия и взаимоизменения субъекта и объекта познания. Новые эмпирические открытия заставляют изменить теорию, которая, в свою очередь, определяет следующие данные опыта. Таким образом, история науки представляет собой историю «интеллектуальных актов», а вовсе не непрерывный процесс применения одного и того же закона к данным внешнего опыта.

После смерти Мейерсона его философское наследие во Франции, как это подчеркивают историки философии, было на долгое время забыто. Труды Мейерсона либо рассматривались сквозь призму башлярской критики, либо, напротив, исследователи искали в его работах черты концепции исторического разума⁹. Тем не менее в последние годы интерес к творчеству Мейерсона во Франции возрастает, причем не только со стороны историков философии, но главным образом со стороны французских аналитических философов.

Интерес к эпистемологической и метафизической концепциям Мейерсона во Франции во многом обусловлен попытками переопределения эпистемологии в интернациональном ключе¹⁰ и желанием ряда философов, к числу которых относится и Паскаль Анжель, вернуться к исследованию классических философских проблем, поставленных в рамках теории познания. Французское понимание эпистемологии в этом отношении не давало достаточного пространства для маневра, поэтому требовало пересмотра и отделения эпистемологии от философии науки. Кризис башлярдизма, начавшийся в 1980-х гг., напрямую связан с тем, что эпистемология во Франции стала ориентироваться на интернациональные течения в современной философской мысли. Несмотря на то, что многими представителями французской философии такого рода перепрофилирование было воспринято негативно, на сегодняшний

⁹ Об этом см.: [Frouteau de Lacos, 2009].

¹⁰ Под интернациональной философией во французской академической среде часто имеется в виду (в противовес национальным философиям) аналитическая философия.

день можно констатировать значительные успехи новой эпистемологии во французской академической среде.

В рамках умеренного рационализма Паскаля Анжела поддерживаются центральные тезисы Мейерсона: (1) наличие независимой от нашего восприятия внешней реальности, (2) возможность ее познания и объяснения и (3) наличие независимых от эмпирических данных априорных категорий, доминирующих над эмпирическим содержанием знания. Однако если Мейерсон в качестве своих основных оппонентов рассматривал представителей позитивизма и идеализма, то аргументы Анжела направлены против релятивизма и натурализма.

Элен Метцжер и «антикваризм» в философии науки

В классической концепции исторической эпистемологии, нашедшей свое отражение в линии преемственности «Башляр – Кангилем – Фуко», можно выделить два основных теоретических аспекта. Первый – принципиальная историчность познающего разума: в отличие, например, от произведений искусства, имеющих вневременную ценность, ценность той или иной научной гипотезы определяется ее релевантностью для более современных научных исследований в данной области. Поэтому в отличие от искусства научное познание прогрессивно, а «история науки всегда описывается как история прогресса познания» [Башляр, 2016, с. 222].

Второй аспект – это отказ от классического (нововременного) понимания рациональности как набора жестких, неизменных и нормативных познавательных инструментов, к которым в первую очередь относятся а priori. Позиция Башляра заключалась в том, чтобы в процессе анализа научного познания «вернуть рационалистическим а priori их подлинный апостериорный вес» [Bachelard, 1966, p. 42].

Оба эти аспекта, в свою очередь, изменяют методологию истории науки, которая становится, по выражению Леона Брюнсвика, своего рода «лабораторией философа» [Chimisso, 2008, p. 71]. Элен Метцжер, как и Гастон Башляр, считала себя последовательницей Леона Брюнсвика и разделяла его взгляд на роль истории науки для философских исследований познания. Именно ее концепция исторического а priori, а также ее работы по истории химии во многом повлияли на Томаса Куна и привели к историческому повороту в эпистемологии. Если историческая эпистемология во Франции XX в. находилась по отношению к другим академическим философским дисциплинам в маргинальной позиции [Fabiani, 2010, ч. 2, гл. 8], то Элен Метцжер была маргинальным мыслителем среди маргиналов (подробнее о причинах такого положения см.: [Chimisso, Gad, 2003, pp. 477-489]).

В то же время взгляд на методологию истории науки, ее роль для философских исследований и концепция исторического а priori, стоявшая

в основании этой методологии и предвосхитившая более поздние эпистемологические теории, получившие развитие в европейской и американской философии науки XX в., делают Элен Метцжер одним из наиболее интересных, равно как и недооцененных мыслителей.

История науки, стоящая на философских основаниях, по мысли Метцжер, противостоит «хронологическому эмпиризму» [Metzger, 1937, p. 204] классического исторического подхода, который в его крайней версии воплощается в виде хронологического документирования исторических текстов, фактов и открытий. Это отношение к истории науки в целом, разделяется всеми представителями исторической эпистемологии. Однако для Башляра основным критерием, относительно которого должно теоретически выстраиваться историческое исследование научного познания, является прогресс рациональности: «История науки не могла бы быть эмпирической историей [... она является историей прогресса рациональных связей знания]» [Башляр, 2016, с. 228].

Вершиной прогресса при этом становится современное философу состояние исследуемой им научной дисциплины, которое характеризуется как консенсус ученых относительно основных положений данной дисциплины. Априорный компонент здесь заменяется конвенцией, выработанной в рамках научного сообщества: «ученые и философы должны переместить свое внимание с утверждения истин на основании индивидуального *cogito* к подчинению так называемых истин *cogitamus* – сообществу ученых. Единственный путь выявления скрытых предпосылок, которые препятствуют дальнейшему научному прогрессу – это сделать свое Я предметом наблюдения извне» [Lightbody, 2013, pp. 43-44].

Для Метцжер «конечной целью было понимание ментальных процессов, стоящих за научными теориями и практиками» [Chimisso, 2008, p. 115], т.е. непосредственный мыслительный процесс, ведущий к научному открытию. Основным теоретическим затруднением для историка и философа науки здесь является переход от текста, с которым он работает в силу специфики своей эвристической задачи, к ментальным состояниям автора, продуктом которых и становится данный текст.

Определяя свой подход к историко-философским исследованиям науки, Метцжер пишет: «Когда я говорю об истории наук, я говорю об истории научной мысли и только о ней; все остальное в науке, включая наблюдение, эксперимент, измерение, вычислительные процессы и технику создания лабораторного оборудования, либо вовсе не имеет к ней отношения, либо играет лишь вспомогательную роль для [научной] мысли или зарождения этой мысли» [Metzger, 1937, p. 205].

История науки здесь становится в первую очередь историей научной мысли, неотделимой от мыслящего ее ученого, но вполне автономной от всего того, что принято считать историей науки в классическом историческом подходе. Тексты и факты, с которыми работает историк,

являются уже готовыми продуктами мыслительного процесса. И задача историка – осуществить переход от фактического к ментальному.

Поэтому, точно так же как ученый, начинающий исследование неизвестного ему феномена, принимает в качестве отправной точки те или иные априорные постулаты, историк науки должен отталкиваться от тех же постулатов в своем исследовании: «Я постулирую а priori то, что считаю истинным, и по мере возможности я это верифицирую» [Metzger, 1937, p. 209]. Вместо того чтобы отказываться от априорных убеждений ученых прошлого, Метцгер предлагает выявить их и не только исследовать с сугубо исторической точки зрения, но и дать им философскую интерпретацию для того, чтобы лучше понимать структуру рациональностей прошлого, внутренние нормы, которым следовало научное развитие [Chimisso, 2003, p. 306].

Подход к исследованию истории науки Элен Метцгер был в большей степени историческим, в отличие от философского подхода ее коллег: «Она четко показала, что в ее намерениях не было использования истории науки в качестве хранилища примеров для доказательства философских теорий» [Chimisso, 2008, p. 113]. В то же время история науки сама по себе, в отрыве от философского осмысления научного развития, не может претендовать на полноту рефлексии природы научного познания, поэтому одну из задач Метцгер видела в теоретическом обосновании «срединного пути» между историей и философией науки, в котором «история науки... может по меньшей мере прояснить размышления философа, создающего теорию познания» [Metzger, 1935, p. 5].

В противовес доминирующему отказу от а priori при историческом анализе научного познания Элен Метцгер выдвигает тезис о том, что полный отказ от априорных предпосылок (как в научном, так и в историческом исследовании) невозможен. Наличие априорного компонента познания, предшествующего началу любого исследования – это то, что объединяет ученого, историка и философа науки, т.е. формирует методологическое единство познавательного процесса для представителей различных дисциплин.

В целом концепцию исторического а priori Метцгер можно охарактеризовать как первую систематическую попытку релятивизации понятия а priori на исторических основаниях и в связи с историческими исследованиями непосредственной научной практики. Основной сложностью в исследованиях исторического а priori представляется то, что если классическая (кантовская) концепция предлагает четкое определение априорного, то здесь предлагается принципиально иной подход: а priori в истории научного знания должны быть выявлены историком (причем историком философствующим) науки на основании их роли в развитии той или иной научной дисциплины. При этом, для того чтобы выявить такие а priori, историку науки нужно принять два важных постулата:

(1) Каждый ученый, приступая к своим исследованиям, руководствуется определенным набором априорных положений, которые он принимает в качестве истинных (по крайней мере пока не доказано обратное). Любое научное исследование, таким образом, отталкивается от такого типа априорных положений, потому что в противном случае у ученого не было бы никаких теоретических оснований или отправной точки для начала исследований.

(2) «Постулат, который невозможно ни верифицировать, ни отбросить: человеческий дух в своих фундаментальных характеристиках похож на самого себя», и поэтому все многообразие внешних проявлений человеческой ментальности может быть сведено к вполне ограниченному набору характеристик, на основании которых возможно создание «каталога (пусть и неполного) возможных установок, с помощью которого можно создать рабочую классификацию некоторого количества гипотез, которые без изменения повторяются в науках и различных эпохах развития человечества» [Metzger, 1937, p. 206].

Согласно концепции Метцжер, «а priori не являют собой уже готовые и предшествующие опыту понятия, на которых основывается описание опыта, напротив, а priori представляют собой фундаментальные тенденции, которые порождают такого рода понятия» [Metzger, 1936, p. 33]. Продолжая свое рассуждение, Метцжер утверждает, что не все а priori эксплицитно принимаются в качестве таковых: «К а priori в действии мы можем добавить а priori потенциальные и латентные, которые при контакте с повседневным (а не только научным) опытом принимают форму а priori в действии» [Metzger, 1936, p. 33]. Таким образом, а priori ученого непосредственно связаны не только с его актуальными научными изысканиями и развитием научной дисциплины, но и с тенденциями исторической эпохи, личным жизненным опытом ученого и убеждениями и являются элементом сложной конструкции, не ограничивающейся ни философской теорией, ни историческим документированием результатов научных исследований. «Метцжер интересовали не только [научные] практики, но и обнаружение мировоззрений и способов мышления, которые приводили к появлению данных практик» [Chimisso, 2008, p. 116]. История науки, таким образом, теряет свою автономию и вписывается в более широкий пласт истории развития человеческой цивилизации.

А priori в науке, в отличие от классического определения априорного, не являются чем-то раз и навсегда установленным, а находятся в постоянном процессе динамических трансформаций, переплетаясь с опытом, определяя его и корректируясь в зависимости от новых эмпирических данных и теоретических открытий: «Первичные понятия, на которые опирается наука в каждый момент своего развития, не являются абсолютно данными; хотя некоторые из них в некотором смысле продиктованы нашим знанием чувственного мира, они являются

в определенной мере пластичными, они могут изменяться, чтобы гармонизировать с совокупностью наших знаний, или, наоборот, они могут изменять нашу спонтанную систему мира» [Metzger, 1937, p. 215], а потому «не существует единственного *a priori*, но множество отличных друг от друга, иногда гетерогенных и несопоставимых *a priori*» [Metzger, 1936, p. 33].

Такой взгляд на природу априорного можно охарактеризовать как радикальную релятивизацию *a priori*, которая, в свою очередь, ограничивается введением второго постулата. Будучи продуктом развития человеческого духа, *a priori* в научном развитии подчиняются более фундаментальным законам, которые еще предстоит выявить представителям таких гуманитарных дисциплин как антропология, социология, психология и теория познания. Поэтому многообразие *a priori*, присущее историческому развитию научного познания, все же носит ограниченный характер и потенциально подлежит научному (историческому) исследованию и классификации.

Для представителей французской исторической эпистемологии история науки и ее философское осмысление были необходимы в первую очередь для того, чтобы лучше узнать и понять природу человеческого разума и рационального, крайнем проявлением которого становится научное познание. Философия науки Элен Метцжер в данном случае находится в русле этого течения: «Метцжер видела свою работу в качестве части более широкой истории разума, и как вклад в решение задачи улучшения нашего знания о разуме» [Chimisso, 2008, p. 122]. Однако если для большинства представителей исторической эпистемологии характерно вполне позитивистское понимание науки как прогресса от более примитивных познавательных практик к практикам более развитым и сложным, а потому и более «рациональным», то вводимые Метцжер постулаты противоречат такому позитивистскому (в контовском смысле) взгляду на историю науки. Для Башляра «история науки всегда описывается как история прогресса познания» [Башляр, 2016, с. 222], а «уже из того факта, что наука эволюционирует в смысле явного прогресса, история науки необходимо является определенной последовательностью смещающих друг друга ценностей научной мысли» [Башляр, 2016, с. 221]. Элен Метцжер (предвосхищая Мишеля Фуко, который довел релятивизацию познавательных норм в исторической эпистемологии до ее логического предела) уже в середине 1930-х гг. явно указывает на то противоречие, к которому приходит историческая эпистемология в ее французской версии.

Парадоксальным следствием теории Метцжер является тот факт, что если развивать ее мысль до логического завершения, то понимание прогресса в том виде, в котором его представляли французские исторические эпистемологи, невозможно. Действительно,

если человеческий разум тождественен в основных своих проявлениях на протяжении всех этапов развития научного знания, то системы a priori, на основании которых осуществляются научные исследования, равноценны и равнозначны. Тот консенсус ученых, исходя из которого выстраивается оценка исследований ученых прошлого, представляет собой всего лишь одну из возможных «систем рациональности», постулаты и следствия из которой сохраняют свою легитимность исключительно для нее самой, а потому не могут быть критерием оценки для другой «системы рациональности» (или, в башлярской терминологии, рациональной ценности).

Если для версии исторической эпистемологии, предложенной Башляром и его последователями, одной из основных задач исторического исследования было составление своего рода иерархической модели ученых прошлого, т.к. «история науки в сущности является историей, подлежащей суждению» [Башляр, 2016, с. 224], то из принятия «гетерогенных и несовместимых друг с другом» исторических a priori (т.е., по сути, систем рациональности) следует невозможность маркировки ученых прошлого как хороших или плохих, а научного познания – как исключительно направленного на прогресс. Тем не менее именно такой подход к анализу истории науки, как это заметила Кристина Кимиссо [Chimisso, 2003, p. 305], оставляет приоритет в исследованиях познавательного процесса за философией (теорией познания), а не за историей.

В целом для исторической эпистемологии в ее французской версии характерен поиск срединного пути между, с одной стороны, отказом от жесткой нормативности классических концепций рациональности, которые были не в состоянии теоретически обосновать революции в научном познании XX в., и, с другой стороны, тотальной релятивизацией познавательных практик и инструментов. Для Башляра разрешение этого противоречия состояло в постулировании очевидности научного прогресса, теоретического превосходства современности науки над ее прошлым, подлежащим суждению и оценке. Для Элен Метцжер способом избежать тотального релятивизма становится постулат о тождественности познающего разума и отказ от презентистского взгляда на историю науки, который, в свою очередь, является отказом от прогресса.

Заключение

Если в истории эпистемологии когда-то и был период, в котором она представляла собой единое и гомогенное поле философских исследований познания, то в настоящий момент эпистемология как академическая дисциплина представляет собой целую плеяду разнонаправленных подходов, каждый из которых претендует на уникальность и приоритет в объяснении

природы, структуры, границ и развития познавательного процесса. В то же время нельзя не отметить, что эти подходы, если и не находятся в состоянии прямой конфронтации друг с другом, все же концентрируются вокруг двух неравных полюсов. К первому полюсу, который я обозначаю как мейнстримовый, относятся направления эпистемологии и философии науки либо генетически наследующие логическому позитивизму, либо возникающие в качестве критической реакции на него. Ко второму, маргинальному, полюсу, относятся те течения эпистемологической мысли, которые развивались вне воздействия философии логического эмпиризма. В качестве основных характеристик первого полюса можно назвать следующие: тяготение к формальному (не-историческому) характеру исследований, склонность к унификации предмета исследования (философия науки вместо философии отдельных научных дисциплин), наследование спектра проблем и терминологии, закрепившихся благодаря логическому эмпиризму.

Отличительной особенностью исторической эпистемологии в контексте современных философских дискуссий являются ее перманентная проблематизация и маргинализация. Это характерно как для зарубежных [Feest, Sturm, 2011], так и отечественных [Шиповалова, 2017; Гавриленко, 2017; Столярова, 2018] исследований. В то время как направления эпистемологии, так или иначе имеющие своим истоком философию логического позитивизма, занимают позицию, которую, пользуясь терминологией Томаса Куна, можно охарактеризовать как «нормальная эпистемология», представители исторической эпистемологии, напротив, постоянно отстаивают право своей дисциплины на существование и пытаются определить и переопределить ее статус среди других направлений эпистемологии.

Здесь мне хотелось бы обратить внимание на одно важное обстоятельство, которое, на мой взгляд, способно пошатнуть статус не-исторических эпистемологий: философия науки и история науки генетически связаны друг с другом. Первые проекты философского осмысления научного знания, будь то проект позитивистской философии Огюста Конта или противостоящий ему «идеалистический» проект философии науки Уильяма Хьюэлла, основывались именно на истории науки. Как только у науки появляется своя история, она начинает требовать философского осмысления. Именно зарождение в XIX в. истории науки ставит перед исследователями первые философские вопросы, связанные с определением и объяснением феномена научного познания, которые остаются актуальными и в сегодняшних философских дискуссиях: проблема отделения науки от не-науки, классификация научных дисциплин, онтологический статус научных теорий и научных объектов, принципы развития научного познания и т.д. Полувековое забвение истории науки в англоязычных исследованиях выглядит здесь по меньшей мере удивительным.

Раздел 2.

Гуманизм в основании научной рациональности

Глава 3

Чему служит наука? Рассуждения о новом гуманизме

А.А. Аргамакова

Гуманитарные идеи всегда оказывали колоссальное влияние как на представления человека о мире и самом себе, так и на управление обществом. На актуальной стадии истории науки гуманитаристика предстает настолько многозадачной, как, наверное, никогда прежде. Неизменно только то, что она пребывает в бесконечном поиске способов совершенствования природы человека и реорганизации социума. В совокупности со всем остальным это называется культуротворчеством или созданием новых культурных смыслов и искусственных объектов (артефактов). В фасилитации культуротворчества гуманитарные науки незаменимы. Оно обогащает жизнь изобретательством, превращает ее в подлинное произведение искусства. Получение нового знания о человеке в конце концов неразрывно связано с интеллектуализацией и направлено на осязаемые гуманитарные цели. Суть гуманитарных устремлений понималась различно в зависимости от эпохи – Ренессанса, Модерна, Постмодерна или наших дней. Практическое значение гуманитарных наук и судьба гуманизма внутренне взаимосвязаны. Взгляд на данный предмет с различных сторон будет представлен в подробностях, в том числе с апелляцией к социальным и цифровым исследованиям культуры и человека (Л.З. Манович, М.Н. Эпштейн, С.В. Фуллер, И.Т. Касавин и др.).

Ключевые слова: гуманизм, гуманитарные науки, технонаука, творчество, человек, культура, технокультура, цифровое общество, социальная философия науки, социальная эпистемология, интеллектуализация, социальные потребности и общественные отношения.

Оправдание социальных и эпистемических ожиданий

Гуманитарное познание не отличается от любого другого вида познания в том очевидном смысле, что оно направлено на получение нового знания о своем предмете. Ожидания от науки обладают, прежде всего, выраженным эпистемологическим характером. Верно, что технонаука создает особую ситуацию и обращает теорию к рынку и конкретным запросам общества. За это технонаука может быть превознесена или осуждена равным образом, потому что работа ученого ассоциируется преимущественно с незаинтересованным поиском истины и с получением нового знания о мире наряду с разгадыванием тайн мироздания и пониманием основ человеческой жизни. До сих пор технология может интерпретироваться как побочный продукт интеллекта, нежели как его главный, направляющий принцип.

Общество спрашивает с ученого, требует предъявить новое чудо и решить неотложные проблемы человечества. Оно обладает на это разумным, обоснованным правом. Если прежде наука решала естественные проблемы человека (потребности в пище, безопасности,

жилище, защите от болезней и т.п.), то сегодня и особенно в будущем она будет решать глобальные проблемы, порожденные ею самой – стремительным научным прогрессом.

Гуманитарные науки и технологии – далеко не антиподы, но союзники. В технонауке все, наконец, соединено воедино. Она символизирует синтез инновационных дисциплин, в том числе с гуманитарными направлениями познания действительности. Гуманитарное воображение приходит на помощь в проектировании технических изобретений. По всей видимости, Леонардо да Винчи являет собой лучшее воплощение такого сочетания гуманитарной мысли, искусства и технологического изобретательства. Его блестящая личность служит прообразом постпозитивистского подхода к трансдисциплинарному сотрудничеству; того, что пришлось переоткрыть и переосмыслить заново в философии науки прошлого века.

Гуманитаристика (независимо от точных направлений исследований) по традиции обращена к образованию и воспитанию человека. Человек – не только ее основной предмет, но главная цель и забота. В новой технонауке гуманитарные дисциплины получают самостоятельное значение в контексте политики, обеспечивающей ценности развития, прогресса и интеллектуального прорыва. Гуманитарное мышление регулирует социальные отношения и институты с намерением достичь «нормализации» общественной и технологической эволюции социума. Оно должно воплощать ответственность (*precautionary principle* – принцип предосторожности), измерять и оценивать риски наряду с открывающимися возможностями. В случае обозначения новых горизонтов для прогрессивного движения вперед оно действует в соответствии с творческой установкой или с обратным, проактивным принципом (*proactionary principle*) [Fuller, Lipinska, 2014]. Проактивный принцип устраняет барьеры на пути познания и обеспечивает его релевантными эпистемическими и социальными ценностями. Проактивный принцип придает решающее значение созидательному действию и непредубежденному воображению исследователя, потому что снимает с него ряд этических, методологических и юридических обязательств.

Американо-британский социолог Стив Фуллер осмысляет проактивный принцип в контексте этики трансгуманизма [Fuller, Lipinska, 2014]. Фактически он противопоставляет его принципу предосторожности по той причине, что любая предосторожность препятствует прорывным исследованиям и замедляет научное продвижение к новым горизонтам. Проактивный принцип предлагает стиль мышления по ту сторону педантичной калькуляции рисков. Проактивный принцип позволяет риск и испытание судьбы вместо боязни прошлых ошибок, останавливающих развитие и технологическое творчество. Хотя на сегодняшний день в науке привычно продвигаться вперед посредством выверенных шагов, с расчетом появляющихся рисков, с оценкой и перепроверкой результативности. Следовательно, в реальной науке не исключено сочетание одновременно

двух противоположных принципов. За исключением тех особых случаев, когда проактивная установка направлена строго на отмену определенных запретительных мер, кодифицированных в законодательстве, культуре, этике, научном этосе, принятых регламентах научной работы и т.д. и т.п.

Таким образом, институциональная наука призвана содействовать устойчивому развитию и поступательному успеху техногенной цивилизации. Вместе с инженерными разработками она образует фундамент человеческой цивилизации, являет форму ее исторического выживания и культурного доминирования. Уровень научных достижений в обществе закономерно служит маркером его цивилизованности и технического превосходства над остальными государствами и отдельно взятыми сообществами, не говоря уже о дикой природе и животном мире. Современная наука служит залогом процветания практически любой сферы постиндустриальной экономики, потому что вместе с собой она привносит инновации, радикальную рационализацию и оптимизацию социально-экономических процессов, поддерживает атмосферу изобретательства и интеллектуального поиска.

Новые научные исследования в значительной мере зависят от заказа и поддержки со стороны государства, существенно больше, нежели от ожиданий и чаяний широких общественных слоев. В живописных подробностях об этом свидетельствуют теории двух способов производства знания [Gibbons, 1994] и заказной науки [Ziman, 1996], производных от ситуации социотехнического поворота к практике.

В особых случаях, когда этому благоприятствуют условия, институциональная наука добивается широкой автономии и самостоятельности. Тогда она осуществляет целеполагание независимо от социальных акторов и политических субъектов, меньше ориентируется на внешние ожидания и принуждающие обстоятельства. Она способна самостоятельно финансировать учебные программы, просветительские инициативы, научные разработки и научное искусство из корпоративного бюджета, если ее бюджет формируется за счет предпринимательской, инженерной, образовательной, издательской или политической деятельности.

Наконец, любой ученый свободен в интеллектуальном поиске. Он реализует заложенный потенциал и личные природные таланты. Ученый вправе приложить способности к общественным задачам или не делать этого, тем более когда его разум занимают совершенно другие вопросы. Ведь творчество – это сложно управляемый процесс, окрашенный в субъективные категории и смыслы. Для него не придумали алгоритмов или безусловных предписаний. Оно сочетает рациональные и интуитивные начала. П.И. Чайковский мог полагать, будто муза не посещает ленивых музыкантов. Но педантичный труд никогда не был лучшим залогом достижений в чем-либо: в науке или в искусстве. Намного больше творчество нуждается во вдохновении, нежели в общественном

заказе, хотя одно может неуклонно сопровождаться другим, особенно когда масштабные стремления и вдохновляющие задачи подкрепляются положительной общественной энергией, широкой поддержкой, восхвалениями, наградами, продвижением по социальной лестнице и другими статусными поощрениями.

Институциональная наука по природе стремится к автономии, независимому и самостоятельному целеполаганию, свободному творческому порыву и беспристрастному познанию. В её идеале, она переворачивает отношения с властью, когда государство начинает прислушиваться к мнению научного сообщества и к его рациональным доводам, а не наоборот. В указанном случае государство предстает более технократичным и просвещенным, открытым к диалогу с обществом и принимающим демократические ценности. Оно делегирует часть власти, ресурсы и право определять собственную судьбу в распоряжение экспертному сообществу ученых.

Аргумент против автономной институциональной науки

Всегда может сложиться ситуация, которая не устроит нас из-за своих крайностей. При преобладании государственных или общественных интересов наука утрачивает автономию воли, превращается в машину по производству технологий, в придаток капитализма, служанку политики, «неолиберальную» коммерческую историю, забюрократизированную социальную институцию, опасную сциентистскую идеологию или в разрушительное милитаристское предприятие. По этой причине «заказная наука» звучит как ругательный эпитет для тех, кто не читал Джона Зимана.

Институциональная наука не менее склонна увлекаться частными, корпоративными целями без оглядки на общество, будучи при всем том похожей на корпоративную науку, которая откровенно и цинично работает исходя из персональных ориентиров и которую возвращают бизнес-корпорации и коммерческие университеты для достижения частных целей или удовлетворения интеллектуальных амбиций.

Автономия, крайне необходимая науке для незаинтересованного и беспристрастного исследования, приводит к дистанцированию от потребностей остального общества. В крайнем случае происходит то, что называется приватизацией знания и захватом научной инфраструктуры отдельными группами ученых, которые действуют не в общих, но в частных интересах, на основе предполагаемого превосходства в предметной области¹¹.

¹¹ Сравните с тем, что говорится о демократизации технонаучного знания в статье «Социальное изучение корпоративной науки: исследовательский манифест» [Penders et al., 2009, p. 440].

По своей природе институциональная наука скорее склонна к оправданию эпистемических ожиданий. Социальные контексты познания являются внешними и дополнительными для нее. Для академической науки и науки как духовной сферы характерно внутреннее стремление к истине и не заинтересованный теоретический поиск. Они производны от целерациональной установки ученого внутри организованного сообщества исследователей. Поэтому технонаука, в противоположность отвлеченной абстрактной теории, появляется исключительно при участии множества социальных акторов и политических субъектов. Технонаука открыта по отношению к обществу и его гетерогенным сообществам. Она на порядок лучше приспособлена к реагированию на социальные запросы в силу присущей ей инженерной и коммерческой составляющих. Общественное внимание к технонауке вызвано тем объективным обстоятельством, что высокотехнологичные разработки требуют серьезного финансирования, развитой инфраструктуры для организации поисково-исследовательских работ и, соответственно, государственной поддержки, которая не поступает в ситуации изоляции от потребностей общества [Ziman, 1996, p. 752].

Аналогично гуманитаристика не смогла бы полноценно реализовывать культуросозидающую функцию [Эпштейн, 2016] при глухом обособлении науки от практических запросов и событийной повестки, потому что человек и общество – ее питательная среда. Гуманитарная наука представляет собой форму жизни социума, когда с ее помощью общество наблюдает, осмысляет, описывает и созидает себя. Гуманитаристика служит тем чувствительным датчиком, который показывает индикаторы состояния общественной системы, ее соответствие или отклонение от предзаданных норм, ее настроения и переживания на отдельно взятом историческом отрезке. Наконец, она осмысляет и проектирует общественные нормы и правила жизни индивидов коллегиально с другими субъектами социальных отношений, исходя из совместной практики, укоренившихся привычек, сложившихся традиций или общественных ожиданий относительно будущего.

Когда наука в целом и гуманитаристика в частности присваиваются частными группами или устраниются от остальных, многочисленных или малочисленных групп, то общество уподобляется Левиафану, пожирающему куски самого себя. Такое уродливое чудовище олицетворяет экзистенциальный вызов для своих членов. Оно практикует – в экологическом смысле соответствующих понятий – паразитические и хищнические формы сосуществования, т.е. выживание одних особей за счет ущерба, притеснения или уничтожения других особей¹².

¹² К слову, экологической науке известно несколько десятков форм сосуществования биологических организмов в популяции и межпопуляционном взаимодействии.

Популярная наука не способна навести мосты и преодолеть когнитивную диспропорцию между обычными гражданами и академическими учеными, наделенными значительным интеллектуальным и культурным багажом – производным от познаний в современных науках. Популярная наука представляет собой посредника, промежуточное звено или просто способ приобщения к наиболее значимым научным достижениям. По большей части она приглашает в настоящую науку всех желающих и обладающих достаточно высокими когнитивными способностями. Без многолетней подготовки и сизифова труда врата науки будут закрыты для большинства из тех, кто попытается проникнуть в них.

Плодотворный диалог науки с обществом начинается с того момента, когда гуманитарий из наблюдателя превращается в творца культуры. Он производит новые смыслы и создает пространства межличностных отношений. Сопоставим подобный процесс, следуя культурологическому подходу Льва Мановича, с программированием культурного софта. Поскольку культура имеет дело с упорядочиванием и передачей информации посредством разнообразных медиумов, она сравнима с операционной системой компьютера. Термин софт, или программное обеспечение, применяется для изучения феноменов культуры, в которой интенсивно циркулируют коммуникативные потоки и социальные акторы выделяются характерным информационным поведением.

Таким образом, культура включает в себя обработку информации и ее потребление в тех или иных форматах и пропорциях. Как замечает Манович: «Художники разрабатывали новые техники кодирования информации, в то время как слушатели, читатели и зрители создавали собственные когнитивные методы ее извлечения. История искусств заключается не только в стилистических инновациях или попытках представить реальность, человеческую судьбу, взаимоотношения общества и личности – она также включает историю новых информационных интерфейсов, созданных художниками, а также новых типов информационного поведения, созданных пользователями. ... Другими словами, любой культурный объект отчасти напоминает смартфон» [Манович, 2017].

По мысли Мановича постиндустриальное общество можно осмыслить через парадигму информационной эстетики. Ключевым в нем становятся способы (формы) обработки и репрезентации (сообщения) информации не только из-за тотальной компьютеризации, но в том числе и благодаря росту значения интеллектуального труда. Однако человеческая культура изначально формировалась как в практической деятельности древних протосообществ, так и в особых способах коммуникации, посредством которой организовывалась активность людей – от ведения сельского хозяйства до охоты на диких животных или торговли глиняными

изделиями. Интенсивный информационный обмен вёл к появлению новых медиумов для кодирования и декодирования культурных смыслов. Манович совершенно точно замечает в этом отношении: «Если Маркс полагал, что человек отделился от животного мира, создав орудия труда, сейчас мы можем добавить, что люди стали людьми, сделавшись дизайнерами – изобретателями и создателями форм» [Манович, 2017].

Поэтому созидание культуры сопоставимо с программированием в прямом и переносном смыслах этого слова. Софт – это тот образ и инструмент, благодаря которому культура работает и ее объекты получают репрезентацию [Манович, 2017]. Особое направление познания, которое разрабатывает Манович, обращается к культурным объектам, порожденным или трансформированным новыми медиа [Манович, 2018]. К артефактам такого рода относятся: компьютерные игры, виртуальная реальность, интернет, веб-сайты, мультимедийные технологии, цифровое кино, фотография и другие произведения цифровых визуальных искусств [Манович, 2018, с. 53]. Компьютерная революция, помимо того что меняет все виды человеческой деятельности, создает новые языки репрезентации культурного опыта посредством цифровых медиумов. Они функционируют по особым принципам организации информации, уникальным паттернам взаимодействия с пользователями и согласно новой визуальной эстетике (которую описывает культурная аналитика, преимущественно с применением цифровой методологии) [Манович, 2018].

Человек подключается к культуре благодаря многоликим «информационным интерфейсам» подобно взаимодействию с компьютерными вычислительными устройствами, интегрированными теперь во множество материальных объектов. В цифровом обществе создание культурных объектов опосредуется цифровыми медиумами.

Постепенно культура становится настолько доступной и интерактивной, как смартфон в вашем кармане. Любой обыватель в состоянии подключиться к ней свободно и непринужденно, по первому запросу и пожеланию, вне зависимости от времени суток, дня или ночи. Приобщение к гуманитарным идеям, к культуротворчеству перестает напоминать эзотерическую мистерию, но в точности наоборот – становится более понятно и доступно каждому «пользователю».

Созидание культуры основано не только на вычислительных мощностях, но в том числе на живой инициативе, производной от самых энергичных, пассионарных и личностно притягательных субъектов. В частности, культура содержательно обогащается благодаря интеллектуальной работе социальных ученых, но помимо сказанного – непосредственно за счет расширяющегося повседневного опыта индивида, основополагающих коллективных значений и совместной деятельности.

Социальное творчество не является привилегией власти, но становится делом выбора каждого.

Культурное многообразие и жизнь как искусство

Гуманитарные науки производят культурное многообразие или многообразие культурных форм. Они не только сохраняют память о прошлом, что, безусловно, важно, но благодаря гуманитарному познанию у общества появляется право на определение будущего. Благодаря гуманитарным идеям оно устремляется к новым горизонтам, к постановке захватывающих задач и достижению глобальных целей, способных экзистенциально увлечь человека в частности или цивилизационно увлечь за собой большие массы людей. Увлечь не посредством силового или административного принуждения или даже экономических выгод, но через общие мечты и эмоционально окрашенное ощущение смысловой и ценностной сопричастности друг другу.

Гуманитарное познание посредством механизмов творчества превращает социальную жизнь в искусство. И с точки зрения фантазийности, и с точки зрения утонченности, и с точки зрения производимого эффекта, со всеобъемлющим захватом воображения и погружением сопричастных в лучшие из возможных миров. По содержанию социальное творчество противоположно деструктивным явлениям, но на эстетическом и смысловом уровнях создание нового в искусстве нередко ассоциировалось с радикальным разрушением старого порядка вещей.

Гуманитарное познание просто прекрасно работает как фасилитация культурного творчества. Речь идет не только о культурных артефактах или производстве гуманитарных идей (новых смыслов), но и о неординарных художественных форматах событий и межличностном общении, посредством которых инициируется интеллектуальная коммуникация и обмен знаниями друг с другом, происходит личностный рост и самосозидание человека вплоть до обращения его личности и телесной оболочки в объект искусства и технологической трансформации. Это стало возможно как никогда прежде благодаря наукоемкой медицине, трансплантологии, протезированию, биоробототехнике, нанотехнологиям, косметологии и процедурам омоложения, но помимо сказанного – через привлечение нового цифрового искусства, через освоение художественных и духовных практик.

Наконец, ученые предвосхищают создание *Третьей жизни* на основе достижений синтетической биологии [Капуччи, 2016]. При этом считается, что *Первая жизнь* зародилась в недрах окружающей нас природы, а *Вторая жизнь* относится к изобретению символической коммуникации и технических артефактов через подражание объектам естественного мира. Как ранее отмечалось исследователями, «биотехнологическое искусство

работает с конструированием генетического кода, синтетическим выращиванием биоткани, технобиологическими гибридами – киборгами, протезами и сателлитными объектами, проникая в пограничную область смысла и нарушая привычные границы объектов. ... Искусство выстроило “гусиный ряд” технологий как сменяющих друг друга операторов: фотография, кино, “новые медиа”, биотехнологии...» [Митрофанова, 2016, с. 37].

Технологическая трансформация человеческой природы занимает центральное место в футуристическом воображении трансгуманистов, которые не мыслят человека ни первым, ни тем более последним звеном в эволюции разумных существ. Вполне вероятным представляется сценарий, при котором последующее развитие цивилизации будет продолжено через искусственное воспроизведение «кибернетических» и «механических» существ. Это означает, что человек отождествляется больше не со своим биологическим субстратом, но скорее с разумом и волей к технологическим изобретениям, которые возможно отделить от человека и делегировать сверхразумной машине (сверхмашине, другими словами). Миссия робототехники приравнивается к действию естественного отбора. Одновременно робототехника сравнима с раскрытием богоподобной сущности индивида, тех его имманентных качеств, благодаря которым он трансцендирует от естественного состояния к божественному сотворению¹³.

Что касается обычного представителя *Homo sapiens*, то гуманитарные науки возвышают его приземленное мышление над повседневной рутинной. Они побуждают мысленно продвигаться от конкретного к абстрактному, а это – нетривиальная ментальная процедура. Она не только и не столько свидетельствует о натренированности и «олимпийских» достижениях ума. Умение поддерживать рассуждение, анализировать запутанные доводы, следить за ходом мыслей оппонента, производить правильные умозаключения в отношении абстрактных вопросов дано не каждому. Или дано далеко не в равной степени с другими людьми. А ведь логика ведет к подлинному раскрытию духовной сферы и к поступательному прогрессу социума, возвышает человека над материальными заботами и мещанским существованием.

Искусство последовательного мышления, риторическое убеждение и философствование не зря настолько ценились в Древней Греции, где стали признаком аристократичности духа и благородности интеллекта. В общем, оказались неподдельным свидетельством человеческого гения и примером торжества разума. Правители, ораторы, юристы вместе с учителями древности приобщались к познаниям в области логики, риторики, метафизики и философии – к тому, что в дальнейшем составит

¹³ См. [Fuller, 2011; Fuller, Lipinska, 2014], а также релевантные работы, опубликованные на сайте для социальных эпистемологов *Social Epistemology Review and Reply Collective*.

основное содержание свободных наук и искусств. Неслучайно их объединили в общий канон гуманитарных направлений познания, т.к. это подчеркивало взаимные переходы и концептуальные пересечения между ними – в частности, связь теоретических спекулятивных «упражнений» с практическими искусствами.

Об интеллектуализации вообще

Рост социальной активности и творчества – далеко не маркер культурного достижения. Это как глубокая разница между искусством и массовым потреблением культурных продуктов. Подобный «фаст-фуд» бывает популярным, но недостаточно полезен.

Впрочем, по той очевидной причине, что проблема демаркационных линий между искусством и неискусством существует, культурные формы предпочитают не спорить о достоинствах и превосходстве, а конкурировать между собой, посредством социальных механизмов вытесняя или поддерживая одна другую, что в отдельности составляет фундаментальную проблему как теоретической, так и практической направленности. Можно представить ее частные проявления в качестве геноцида культурных форм или, проще говоря, вытеснения за пределы общественного и коллективного сознания с последующим замещением одних форм другими. Вытеснение может выглядеть менее или более грубым, менее или более прямолинейным. Например, финансовые меры поддержки играют роль рычага в запуске и завершении творческих инициатив (финансовые меры относятся к классу достаточно жестких и прямолинейных мер). По этому принципу работают научные фонды, подобные РНФ и РФФИ, или фонды поддержки социальных проектов, например, такие как «Нужна помощь» или краудсорсинговая платформа *Boomstarter*.

Общественный протест может привести к угасанию активистских инициатив, а поддержка – к широкой экспансии. Политическое внимание выделяет значимость тематических рубрик и смысловых кластеров в общественном пространстве. Поэтому, например, сетка новостных программ ТВ всегда формировалась особым способом, когда важные новости предшествуют менее значимым сообщениям и освещаются подробнее. Внимание посредством психологических приемов распределяется в соответствии с рациональными принципами, которые описывали такие авторы, как А. Венгер, Т.Х. Дэвенпорт и Дж. Бек в работах по политике и экономике внимания. В них приводятся приемы, связанные с изобретением новых интерактивных медиа, вовлечением аудитории в коммуникацию, сотворчеством, сторителлингом, персонализацией, эмоциональностью, бонусными поощрениями, настройкой раздражающих факторов и многие др. Как подчеркивают

Дэвенпорт и Бек, «уроки, выученные благодаря рекламной, телевизионной и киноиндустрии, могли бы помочь администраторам в управлении их самым дефицитным ресурсом – полным захватом внимания работников» [Davenport, Beck, 2001, p. 89]. Внимание называют невозобновляемым ресурсом и нематериальной валютой наших дней, которая быстро продвигает любую творческую или бизнес-инициативу к неминуемому успеху. Оно приобретает не меньшее, если не большее значение, чем капитал для понимания внутренней динамики цифрового общества [Davenport, Beck, 2001; Венгер, 2020].

Далее обратимся к тезису о том, что совершенствование механизмов познания и распространения идей способствует интеллектуализации. Интеллектуализация нужна для повышения качественного состояния культуры, перехода к более совершенным формам самоорганизации. Иногда об искусстве не следует спорить, потому что это бессмысленно. Тогда следует, например, поменять систему образования и на более высоком уровне познакомить с историческими образцами искусства, чтобы вкусы и оценки публики автоматически изменялись в лучшую сторону. Чтобы между ними устанавливалось больше гармонии и согласия, нежели вражды и конфликтных столкновений (как хочется думать).

Сократ был убежден, что разумный человек добродетельнее необразованного невежды. Он верил, что посредством философии искоренимы общественные недостатки. Для начала достаточно осознать их наличие и объяснить причины. Затем они исчезнут без каких-либо усилий, потому что будут восприниматься как неразумные. Сократ мог произнести сакраментальную фразу о том, что интеллект и злодейство несовместимы. По крайней мере на практике интеллектуализация положительно коррелирует с многообразием и качеством культуры¹⁴. Планомерное развитие логического мышления противостоит негативным воздействиям на духовную сферу человека и общества, которые относятся к «политическому волюнтаризму, массовому потреблению и культу мистики» [Касавин, 2020а, с. 35].

Огромный запрос на интеллектуализацию формируется в недрах информационного общества, где потребление и обработка больших объемов данных нуждаются в высокой когнитивной культуре, определяющих повышенный спрос на образование, новое знание и допинг для воображения (последнее создает особую неразрывную связь между наукой и искусством в наши дни). В результате чего информация превращается даже не в способ производства товаров в обществе знания или предмет политической борьбы между интеллектуалами, но определяет стиль жизни постиндустриального человека, при котором познание представляет высшую экзистенциальную ценность для него и он

¹⁴ Сравните с тем, что говорится об этом в статье: [Столярова, 2021, с. 251].

безотчетно погружен в созидательное творчество ради достижения гуманитарных целей. Наука как профессия уходит на периферийный план для него и превращается в призвание.

От определения задач для гуманитарных наук к новому гуманизму

Как пишет профессор И.Т. Касавин в книге «Наука – гуманистический проект», соотношение науки, гуманизма и современности отнюдь не очевидно и представляет собой серьезную исследовательскую проблему [Касавин, 2020а, с. 14]. Мы начали с констатации того факта, что гуманитарные науки естественно направлены на оправдание эпистемических ожиданий. Это означает стремление к получению нового знания об окружающем социальном мире, разгадывание тайн микрокосма или, говоря словами Макса Вебера, «расколдовывание» социальной действительности. Поэтому гуманитаристика, наряду с остальными дисциплинами, нуждается в автономии и соблюдении принципов научного этоса, имеющих отношение к независимости и беспристрастности проводимых исследований.

Тем не менее на этапе технонауки дистанцирование от общественных интересов практически не состоятельно¹⁵. Парадоксально, но факт: технонаука входит в противоречие с предписаниями Роберта Мертона относительно этоса ученых и с идеалами автономии познания. К настоящему времени познание отнимает больше ресурсов, в том числе финансовые издержки организации и проведения научных исследований неуклонно возрастают. Разрушительный потенциал технологий доказывает актуальность гуманитарной экспертизы последствий внедрения инновационных разработок в общественную жизнь. Закономерно, что с расцветом технонауки предвосхищение научных результатов и социальных последствий проводится в коллегиальном сотрудничестве между учеными и не-учеными (политиками, а также другими социальными игроками).

При этом нам кажется, будто гуманитарное познание всегда отзывалось на практические запросы относительно производства культурных смыслов или производства новых культурных форм. Хотя прогресс наук никогда не был настолько стремительным как сегодня, а научное знание не находило дорогу в жизнь настолько быстро. Кроме того, современная социальная наука институционализируется в Европе только к XIX-XX вв. Поэтому о ее целенаправленном влиянии на общество прежде обозначенного периода говорить не приходится. До этого времени скорее происходило культурное влияние гуманитарных идей на западноевропейское мышление, но они не производились в тех

¹⁵ См. описания «эпистемологического империализма» в книге: [Касавин, 2020а].

институциональных формах и инфраструктурных условиях, которые будут характерны для организации научных исследований в дальнейшем.

Гуманитарные науки выполняют культуросозидающую функцию и формируют внутренний мир человека. Это значит, что они описывают, производят и/или критически оценивают основополагающие конвенции, представления и программы, фундирующие основание общественной системы и поведение индивидуумов.

Наконец, гуманитарное познание благоприятствует интеллектуализации и широким познаниям, работает над улучшением общественных отношений и образует человека. Оно всегда направляло общество к новым интеллектуальным горизонтам, в свете которых человек открывался такому творчеству, которое обустроивает реальность сообразно максимам его воли.

Ренессансный гуманизм возвысил личность над обществом и раскрыл ее неповторимую индивидуальность. Он сформировал представление о совершенном, неповторимом человеке, сочетающем интеллектуальные добродетели и возвышенные душевные качества с многогранной одаренностью в изящных искусствах. Он постулировал превосходство индивидуальной воли над неумолимой судьбой, фатумом и предопределенностью [Соколов, 1984]. Мировоззрение Модерна обуздывает индивидуальность человека посредством универсальных законов природы и законов социального прогресса. Оно представит его как обусловленное существо, чья субъективность универсальна и формальна, как универсальны и формальны трансцендентальные структуры сознания, необходимо присущие человеческому роду.

При подобном детерминистском подходе от индивидуальной воли человека мало что зависит в действительности. Она бесследно растворяется во всеобщем, в групповом, в историческом, в надличностном. Человек действует в составе коллективного субъекта, общественных групп или экономических классов. Они детерминированы движением исторического процесса, а не проекциями отдельной личности. Выходит, что коллективный субъект не свободен *per se*, как не свободен *de facto* обычный человек.

Человек эпохи Модерна – это маленький, незаметный, тщедушный винтик внутри огромной социальной мегамшины. Его индивидуальность стерта посредством коллективных ожиданий, исторических обстоятельств или политической целерациональности. Его роль, потребности и намерения предопределены заранее положением и статусом внутри общественной иерархии. Верно, что правами и свободами каждый наделен от природы равным образом, но они далеко не абсолютны с точки зрения философии Модерна. Поскольку права и свободы универсальны и необходимы, то говорят обо всех сразу, но ничего – об индивидуе в частности. Верно, что вместе с Просвещением происходила эмансипация от авторитетов церкви и традиции [Столярова, 2021, с. 249], но человек

неуклонно подводился под власть светских правил и универсальных регулятивов, производных от научной рациональности. Как средневековый человек зависел от божественной воли, так человек Нового времени зависит от естественных законов [Соколов, 1984]. С позиции биологии XIX в. человек воспринимался интегральной частью природы и подчинялся всеобщим законам естественной эволюции вместе со своим биологическим видом под названием *Homo sapiens*. С точки зрения психоанализа, этого смелого открытия Нового времени, срывающего покровы тайны с самого сокровенного в природе, человеком управляют естественные бессознательные инстинкты и коллективное надличностное Супер-эго, между которыми, как между двумя полюсами, мечется и еле подает голос его собственное Я.

Мишель Фуко, в отличие от Зигмунда Фрейда, описывает это в терминах стандартизации и дисциплинарной власти. Медклиники, тюрьмы, казармы, фабрики и школы – где власть буквально «впечатана в стены», хотя пытается «умолчать об этом» [Мишель, 2019, с. 74] – упорядочивали поведение подопечных согласно строгим предписаниям к поведению. Они стандартизировали опыт каждого человека и протоколы взаимодействий с миром. Даже внутренний порядок мыслей подлежал строгой субординации. Как сегодня поведение и образ мышления ограничены социально предписанным образом жизни или информационной лентой в сети Интернет. Таким способом над личностью устанавливались социальная власть и дисциплинарный надзор, которые в форме биовласти получали доступ к душе и телу индивида. Как пишет о дисциплинарной власти Мишель Фуко, «дисциплина “фабрикует” личности, она – специфическая техника власти, которая рассматривает индивидов и как объекты власти, и как орудия ее отправления» [Фуко, 1999].

Для Фуко социальные учреждения, наиболее ориентированные на воспитание и опеку над человеком, послужили прототипом при осмыслении функционирования прочих институций. Их воссозданный образ скорее говорит об общественных страхах, о том, как общество старается обезопасить себя от потенциальной деструкции, нежели поддерживает индивидуальный порыв к творчеству, воображение и внутреннюю свободу. Именно так выглядит судьба индивидуальной личности и субъективного Я в перспективе мировоззрения Модерна.

К настоящему времени гуманитарная наука приблизилась к проактивному видению человека, реализующего неповторимую индивидуальность во внешнем мире. Мир крайне усложнился на уровне структурой организации и предлагает нелинейные траектории для саморазвития каждого, скорее в меру приложенного труда и таланта (включая коммуникативные навыки), чем происхождения и изначального статуса.

Современная гуманитарная наука будто желает найти компромисс между индивидуальностью Ренессанса и универсальностью Модерна, а заодно справиться с философским релятивизмом и скептицизмом относительно самой способности к постижению человеческой сущности, определению оснований ее существования. Ведь как замечают исследователи в отношении состояния Постмодерна, «размывание социальных институтов, дерегулирование и дезинтеграция их структур приводит к тому, что человек постоянно находится в поиске нового самоопределения, новых путей жизнедеятельности, вынужден формулировать новые образы и смыслы существования, приобретать новые типы идентичности. Происходит это столь быстро и часто, что существование человека превращается в жизнь “на распутье”» [Чистякова, 2016, с. 87]. В Постмодерне человек исчезает как сущность, он является объектом самоиронии и скептической деконструкции. Вместе с тем он попросту перестает существовать. Поэтому настолько важно обрести человека вновь, найти его неповторимое, уникальное место и определение среди драматических неопределенностей нашего времени.

Шаг за шагом гуманитарные науки ускользают от узкой специализации и однобокой профессионализации. Их задача теперь – подготовить многогранного и независимого специалиста, наделенного метанавыками, логическим мышлением и познаниями не только в смежных, но в совершенно далеких предметных областях, обладающего умением обучаться и переучиваться на протяжении всей жизни. Мировоззрение Ренессанса развивало гуманитарные науки как средство раскрепощения способностей человека, его возвышения над природой и предопределенностью судьбы [Соколов, 1984]. Оно хотело сделать человека не только разносторонним, не знающим пределов для себя индивидом, но внутренне свободным, а также свободным от внешних социальных условностей и грубых принуждений. Наше время превратит гуманитарную науку во множество инструментов для инструментального превосходства над природой и над другими, менее ловкими людьми; в искусство создания совершенной жизни, в которой найдут отражение отточенные навыки и накопленный цивилизацией опыт.

Освоение иностранных языков входит в число ключевых требований нашего времени, поскольку открывает для человека мировую культуру. Вкупе с глобализацией вне зависимости от политики, поддерживаемой экспансией информационных технологий, кооперацией бизнеса и повсеместным развитием транспортных услуг, широкая компетенция в иностранных языках подготавливает встречу с культурным многообразием, которое повсеместно окружает нас. Человек будет наблюдать его в возрастающей мере и примет непосредственное деятельное участие в обновлении культуры, в бесконечном созидании новых культурных смыслов, технологий и объектов искусства.

В становящемся мире человек учится существованию среди множественных Я, которые все вместе и каждое в отдельности образуют его коллективное самосознание. Он учится пристальнее всматриваться в самого себя и видеть потенциальные, трудно преодолимые различия, осуществлять выбор идентичностей и определять основания для судьбоносного выбора.

Глава 4

Гуманистический проект науки и популяризация научного знания*

Е.В. Масланов

В главе рассматривается соотношение гуманистического проекта науки и популяризации научного знания. Развитие современной западной цивилизации, которая постепенно распространилась на весь мир, тесно связано с научным знанием. В настоящее время роль научного знания в развитии цивилизации подвергается все большей критике. Стремление к рациональному устройству мира привело к эрозии ценностей и сформировало потребительское отношение к человеку и природе. При этом проект новоевропейской науки необязательно должен вести к подобным последствиям. В его основе лежит как стремление к познанию мира, так и специфический гуманистический проект. Познавательный проект, кроме всего прочего, ориентируется на совершение быстрых открытий и постоянную взаимную критику. Гуманистический проект связан с воспитанием в человеке качеств, необходимых для проведения научных исследований, и с постоянной готовностью не просто отрицать имеющиеся знания, но и формировать новые знания. Особенности гуманистического проекта научного знания крайне редко учитываются в популяризации научного знания в рамках модели дефицита и диалога. Лишь в модели участия удастся показать гуманистический потенциал науки.

Ключевые слова: наука, гуманистический проект науки, популяризация научного знания, модели популяризации научного знания, наука и общество.

Научное знание – один из центральных элементов современной европейской цивилизации. Без него сложно представить ее развитие и совершенствование. Оно смогло придать ей динамизм, дало возможность найти новые подходы к изучению мира, формированию общественного порядка. Однако современное состояние европейской культуры, которое сложилось в том числе и под влиянием науки, иногда подвергается критике [Кутырев, 2018]. Один из ключевых подходов к критике современной науки и культуры указывает на то, что наука – это специфическая практика, приведшая к тому, что основной задачей развития как культуры в целом, так и каждого человека в отдельности стало стремление к наиболее рациональному и эффективному устройству мира и своей жизни. Казалось бы, что это позволяет сделать жизнь всего общества и конкретного человека более счастливой и осмысленной. Из нее должны были бы уйти

* В главе использованы материалы статей автора: Артефакт и научная картина мира // Революция и эволюция: модели развития в науке, культуре, социуме: сборник научных статей. Н. Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, 2017. С. 68-70; Гражданская наука: пространство согласования норм различных социальных групп // Мир человека: нормативное измерение – 6. Нормы мышления, восприятия, поведения: сходство, различие, взаимосвязь: сборник трудов международной научной конференции. Саратов: Изд-во СГЮА, 2019. С. 391-395.

иррациональные стремления, исчезнуть насилие, благодаря коммуникативной рациональности на основе выработанного в диалоге консенсуса люди смогли бы достичь взаимопонимания и уважения. Однако всего этого не произошло. Ужасные конфликты и катастрофы XX в., противоречия XXI в. показали, что подобные ожидания не оправдались. Рациональность не вытеснила иррациональность, насилие никуда не исчезло из общественной и личной жизни. Наука же, поставив под сомнение набор уже существовавших ценностей, казалось бы, не смогла предоставить никакой успешной альтернативы. На место возвышенных представлений о прекрасном, бескорыстного стремления к поиску истины пришли утилитарные ценности. Теперь все стремятся получать прибыль, а не жить по совести или открывать истину. «За прошедшие сто лет, – резюмирует претензии к положению науки в современной европейской культуре А.Л. Никифоров, – она [наука] превратилась в служанку капитала и государства, в прислужницу техники. Она уже не содействует интеллектуализации нашей жизни, о чем говорил Вебер, она не расширяет горизонты нашего сознания, о чем писал Пуанкаре, напротив, эта служанка техники часто служит низменным корыстным или идеологическим целям» [Никифоров, 2019, с. 28].

Подобное критическое отношение к современному этапу развития европейской цивилизации и к роли науки в нем, конечно же, имеет право на существование. Однако все же нельзя представить науку лишь как источник современных проблем и механизм разрушения традиционных ценностных комплексов. Научное знание многое дало европейской цивилизации, превратив ее из еще одной локальной культуры в глобальный цивилизационный проект. Постараемся показать, что сам проект науки необязательно должен вести к указанным проблемам современной культуры.

Наука как познавательный проект

Вопрос о зарождении научного знания является достаточно дискуссионным. Некоторые элементы науки сложились уже в Античности, тогда как другие сформировались лишь в начале Нового времени. Мы будем исходить из того, что наука – это достаточно специализированная деятельность по познанию мира, практики которой впервые получили свое относительно полное развитие в Новое время. В этом случае под наукой можно понимать специфический познавательный проект, в основе которого лежит идея о целенаправленном изучении мира на основе использования различных инструментов и рассматривающий математику как особый язык науки. Эти особенности позволяют сформироваться специфической познавательной практике, нацеленной на совершение «быстрых открытий» [Collins, 1998]. Именно это и отличает научное знание от других

форм знания. В научной практике сложилось понимание, что после того, как был получен научный результат, который был обоснован научными методами, а его проверка показала корректность полученного результата, больше не стоит пытаться его подтвердить или опровергнуть. Теперь этот вопрос рассматривается как решенный, и стоит переходить к поиску ответов на другие вопросы. Затем, возможно, в какой-то момент полученный результат окажется опровергнутым, но произойдет это потому, что будут обнаружены противоречия и ситуации, когда на него уже нельзя опереться. До этого момента дискуссии прекращаются. Постоянное движение по линии быстрого решения научных задач – постановка научной задачи или проблемы, поиск ее решения, проверка полученного решения и переход к другой задаче – оказался именно тем подходом, который позволил науке развиваться.

Формирование проекта современного естествознания привело к созданию особого методологического подхода к научному поиску и формированию специфического научного этоса, в классическом варианте описанного Р. Мертоном [Merton, 1973]. Ученый в своей деятельности опирается на принципы коллективизма, универсализма, бескорыстия и организованного скептицизма. Их сочетание позволяет представить научную деятельность как особый способ поиска ответов на вопрос об устройстве мира. Этот поиск предполагает реализацию практик организованной дискуссии, в которой сообщаемая информация, найденные решения значат намного больше, чем личность сообщавшего эти результаты. В итоге метод научного познания начинает играть принципиально важную роль. Лишь следование методу дает возможность получить новые результаты, которые пройдут через горнило критики.

При этом именно производство нового знания становится важным для реализации науки как познавательного проекта. Эта нацеленность на интеллектуальные изменения отличает науку от других познавательных практик. Задача института науки и ученых заключается не только в стремлении сохранить уже имеющиеся знания, но и создавать новые знания. Лишь когда ученый получает новое знание, он может считать себя действительно ученым. Это ведет к еще одной особенности научного знания. Наука может быть описана не только как специфическая практика по производству знания, но и по его «дарению» другим ученым и обществу. И.Т. Касавин отмечает, что концепция «обмена дарами» позволяет достаточно успешно описать деятельность ученых [Kasavin, 2019; Касавин, 2020б]. В этом случае новое знание выступает особым «благом», которое ученый «добывает» в процессе своей работы. После того, как оно было добыто, он не только не прячет его от других, а, наоборот, в своих статьях и книгах, выступлениях на конференциях и лекциях сообщает его всем заинтересованным сторонам. Лишь отдавая знания в дар, ученый может надеяться на признание своих коллег и всего

общества. При этом он надеется на то, что и другие ученые ведут себя схожим образом. В результате обмена дарами и выстраивается научная иерархия. Ведущие места занимают ученые, которые способны приносить больше даров, чем другие. Поэтому наука как познавательный проект требует конструирования не только пространства поиска истины, но и подобных обменов дарами. Даже формирование в XX в. технoнауки не разрушает подобное устройство научного сообщества. Ученые все равно приносят свои знания в дар «городу и миру». Правда, значительная часть их достижений оказывается включенной лишь в «закрытые» процессы создания новых технологий.

Развитие науки как сообщества, основанного на дарении нового знания, которое подверглось всесторонней критической оценке, формирует еще одну особенную черту науки как познавательного проекта. Теперь важным становится постоянное производство инноваций, которое базируется на изменениях, произошедших в научном знании. Но само «производство» инноваций заключается еще и в том, что для новoeвропейской науки особую значимость приобретает создание нового исследовательского оборудования. Именно оно аккумулирует в себе все научные достижения. Научные результаты используются в оборудовании, но не всегда репрезентированы в нем в явном виде. В этом случае сами приборы выступают «черными» ящиками, при помощи которых достижения науки, полученные в прошлом, позволяют ей развиваться. Благодаря этому наука становится сложной технической деятельностью по производству нового знания. Эта деятельность предполагает ее соотнесение с некоторой внешней по отношению к ней реальностью. Не имея непосредственного доступа к реальности, исследователи конструируют ее в процессе своей работы. «Мы конструируем не только теории или классификации, но и объекты исследования, и даже то, что принято называть фактом», – пишет А.М. Розов [Розов, 2008, с. 55]. Деятельность по «конструированию» связана с использованием «инструментов». Б. Латур определяет их как «любую установку, вне зависимости от ее размера, устройства и стоимости, производящую визуальный продукт, который используется затем в научных текстах» [Латур, 2013, с. 118]. В данном случае нет принципиальной разницы между маятником и Большим адронным коллайдером, построенным в ЦЕРНе. Все это – установки, используемые для конструирования реальности и изучаемых фактов, описываемых в научных текстах.

Важным компонентом установки являются используемые в ней «идеализации», присутствующие в научной картине мира, на основе и для изучения которых она конструируется. Некоторые установки способны описывать больший объем информации, чем содержится в используемых «идеализациях». Примером подобного функционирования установки служит история возникновения барометра. Торричелли конструировал

свою экспериментальную установку для измерения степени «боязни пустоты», но в итоге предположение о «боязни пустоты» было заменено на предположение о том, что на столбик ртути «давит» воздух. Ни о каком «атмосферном давлении» в процессе конструирования барометра Торричелли не знал, однако сама экспериментальная установка и интерпретация полученных результатов привели его к новому предположению. Таким образом, установка сама по себе может предоставлять больше данных, чем предполагалось получить с ее помощью. Благодаря этому развитие научной практики рано или поздно выходит за пределы существующего образа реальности. В итоге в науке существует несколько типов установок. Одни подтверждают существующие теоретические построения, тогда как другие позволяют получать новое знание, выходящее за пределы имеющихся представлений.

Оба типа экспериментальных установок схожи. Они представляют собой продукт человеческой деятельности и сознательного конструирования, носят вещественный характер. Однако их функционирование в системе научного производства различно. Одни носят вспомогательный характер и используются для интерпретации полученных данных, формирования некоторых визуальных образов, тогда как другие позволяют проводить новые исследования, проблематизировать полученные данные, проверять выдвинутые гипотезы. Разделение на данные группы достаточно условно и зависит от исторического контекста. Одни и те же приборы, помещенные в различные контексты, могут иметь различный статус. В эпоху становления современного естествознания маятник выступал прибором, который позволял получить принципиально новое знание; сейчас это вряд ли так. Поэтому для каждого исторического этапа развития научного знания существуют свои собственные приборы, позволяющие получать новые знания.

В результате наука как познавательный проект оказывается тесно связанной с развитием техники. Все это как раз и позволило запустить серию общественных и социальных инноваций, которые и привели к формированию современной европейской цивилизации. Однако подобная деятельность требует от ученого особого сосредоточения творческих сил и способностей. Наука становится специфическим гуманистическим и антропологическим проектом.

Некоторые элементы гуманистического проекта науки

Научная работа требует от исследователя не только реализации познавательных практик, но и особого отношения к своей деятельности. Как было отмечено выше, важную роль в познавательном проекте науки играет следование этическим принципам научного познания. Однако само становление ученым можно рассматривать как специальную практику

по воспитанию собственных когнитивных навыков, формированию особого отношения к научным исследованиям и следованию познавательным идеалам. М. Фуко отмечал, что существуют «техники себя», в рамках которых происходят воспитание собственного отношения к миру, принятие познавательных ориентиров. Они позволяют «индивидам, самим или при помощи других людей, – отмечает М. Фуко, – совершать определенное число операций на своих телах и душах, мыслях, поступках и способах существования, преобразуя себя ради достижения состояния счастья, чистоты, мудрости, совершенства или бессмертия» [Фуко, 2008, с. 100]. Можно отметить, что само становление ученого, его вхождение в науку оказываются тесно связанными с воспитанием интеллектуальных добродетелей, которые позволяют ученому достичь успеха в научной деятельности. Оно заключается в освоении в процессе обучения парадигмы и вхождения в определенный мыслительный коллектив. К примеру, Л. Дастон и П. Галисон в своей книге «Объективность» показывают, каким образом происходила трансформация представлений об объективности в науке, как различные типы практик «включают тренировку чувств в научном наблюдении, ведение лабораторных журналов, рисование образцов, возведенный в привычку контроль собственных верований и гипотез, усмирение желаний и перенаправление внимания» [Дастон, Галисон, 2018, с. 293], не только выражают самость ученых, но и конструируют ее. Поэтому и становление ученых предполагает долгий путь обучения, без которого ни один из них не смог бы действовать в научном сообществе, не был бы понят своими коллегами.

В процессе обучения научной профессии ученому приходится осваивать новые интеллектуальные техники и подходы к описанию мира. Ему необходимо проходить определенного рода «тренировку». В результате приходит понимание того, что наука предполагает не только упорный труд, но и способность отказаться от привычного подхода к описанию мира. От ученого требуется признать тот факт, что наш обыденный опыт и интуиции могут противоречить результатам научных исследований. Но именно последние он должен предпочесть своим обыденным представлениям. Ему необходимо научиться видеть за разрозненным набором различных данных проявления особенностей мироздания и всегда быть готовым конструировать на основе этих данных новые подходы к описанию мира. Таким образом, именно освоение науки становится специфической техникой воспитания себя, которая создает нового человека, который должен быть свободен от предрассудков и косного мышления. Оно требует способности выдвигать смелые гипотезы, принимать нетривиальные решения и находить новые объяснения. В этом случае проект науки изначально предполагает представление об изменчивости наших подходов к описанию мира,

готовность отказываться от одних представлений и заменять их другими. Однако это «разрушение» представлений происходит не ради самого процесса разрушения. На место старых идей всегда должны приходиться новые. Наука требует творческой переоценки идей, а иногда и ценностей, например, таких как «объективность», и постоянного саморазвития ученого.

Именно эти техники становятся одним из важнейших элементов гуманистического проекта науки. Казалось бы, гуманистический проект науки наделяет человека особым положением в мире. Наука дает ему возможность искать ответы на вопросы об устройстве мира и изменять его. Человек сам оказывается творцом своей истории. Познавая закономерности общественного развития, совершая научные открытия и создавая технологические инновации, он может стремиться создать мир, в котором ему будет комфортно существовать. Но подобное описание гуманистического проекта науки схватывает лишь один из его аспектов. Основной особенностью становится то, что он требует от человека постоянного поиска и стремления к совершенствованию. Человек – это не что-то раз и навсегда данное, он изменчив. При помощи собственного разума он получает возможность создавать новые миры, ставить новые вопросы. Но все это возможно лишь в условиях саморазвития и проблематизации в том числе и собственного положения в мире [Касавин, 2020а].

Гуманистический проект науки оказывается связанным и с постоянной «пересборкой мира». В этом мире появляются новые участники, которые до этого не были представлены в нем [Латур, 2018]. В мире ученого начала XIX в. не было микробов, транзисторов, протонов и нейтронов, тогда как наш мир уже сложно представить без всех этих объектов. Они оказались в нашем мире благодаря тому, что наука сделала их доступными человеческому анализу. Собрав мир по-новому, она показала, что мы можем давать представительство новым объектам. Но такие действия предполагают и то, что гуманистический проект науки, вопреки гуманистическому проекту Ренессанса, не только ставит человека в центр мира, он требует, чтобы человек дал возможность участвовать в мире и другим акторам. В этом случае ученый выступает представителем Природы, который в процессе взаимодействия с ней, заинтересованного поиска и научного исследования дает возможность «высказаться» различным элементам природы.

Все это свидетельствует о том, что наука как гуманистический проект представляет собой пространство творческого постижения мира и становления человека. Она всегда оказывается принципиально открытой, что хорошо согласуется с познавательным проектом науки.

Популяризация научного знания и гуманистический проект науки

В начале становления новоевропейского цивилизационного проекта наука хоть во многом и выражала его особенности, но все равно не была явлением массовым. В настоящее время научное знание активно вошло в общественную жизнь, его элементы усваиваются достаточно большим количеством людей в процессе социализации, обучения в школах и высших учебных заведениях. При этом все большую популярность приобретают и проекты по популяризации научного знания. Они рассказывают людям о последних достижениях науки. Исследователи выделяют несколько моделей подобных проектов – дефицитную, диалога и участия.

Дефицитная модель популяризации научного знания сложилась одной из первых. Для нее характерна ситуация, когда ученые занимаются «просвещением» широких масс. В ее основе лежит представление о том, что большинство самых обычных и не связанных с наукой людей не имеют достаточно полного представления о научном знании, и поэтому они испытывают дефицит достоверных знаний о мире. Ученые должны восполнить эти пробелы. Примерами подобных проектов могут служить научные фестивали, публичные лекции и демонстрации экспериментов. В этом случае взаимодействие ученых с не-учеными носит односторонний характер. Ученые занимаются «просвещением», формированием положительного образа науки в общественном сознании, а граждане воспринимаются как «непросвещенная» масса. Они могут усвоить определенный набор научных представлений, но вряд ли имеют возможность познакомиться с научным методом и нормами научной коммуникации, лежащими в основе научного сообщества.

Постепенно к дефицитной модели добавилась модель диалога [Vucchi, 2008, p. 66-67]. В этом случае модель популяризации науки связана с все более активным вовлечением обычных граждан в научную деятельность при помощи диалога с ними. В результате они не просто осваивают знания, полученные учеными, но могут способствовать и формированию новых знаний. Однако и в этом случае существует специфический разрыв между учеными и остальными участниками проектов популяризации или внедрения уже полученных научных и научно-технических результатов в производство или общественную жизнь. Именно ученые руководят этими процессами. Участвующие в проектах люди могут оказывать влияние на его развитие, но их действия должны быть одобрены и проинтерпретированы профессиональными участниками проектов. Иначе проекты популяризации или внедрения научно-технических результатов выйдут из-под контроля профессионалов.

Подобные стратегии базируются на представлении о существовании определенного эпистемологического разрыва между учеными и обычными

гражданами. С одной стороны, по мнению ученых, обычные граждане не обладают определенным набором знаний и умений, которые необходимы для компетентного решения научных и научно-технических задач. С другой стороны, обычные граждане не в полной мере знакомы с особенностями научного метода в целом и конкретно-научными методами в частности. В этом случае основная задача ученых как в процессе популяризации научного знания, так и в процессе его внедрения связана с необходимостью не столько преодолеть этот разрыв, сколько учитывать его в своей деятельности. В результате в подобных проектах формируются две группы параллельных систем взаимодействия между их участниками. Первая связана с взаимодействием между эпистемически похожими группами: ученые/ученые (в широком смысле, в этом случае и инженеры выступают в роли ученых) и не-ученые/не-ученые. Отношения внутри группы регулируются нормами, характерными для каждого из сообществ, а поэтому их нормативные идеалы не оказывают никакого влияния друг на друга. Вторая связана с взаимодействием между эпистемически различными группами: ученые/не-ученые. И в этом случае не формируется пространства согласования нормативных представлений между участниками этих эпистемических сообществ. Наука всегда воспринимается как данность.

М. Букки отмечает, что в настоящее время реализуется еще и третий механизм коммуникации ученых с остальными гражданами – модель участия [Vucchi, 2008, p. 69]. Согласно этой модели, нужно говорить уже не столько о популяризации научного знания, сколько о совместных исследованиях, проводимых учеными и обычными гражданами. В отличие от дефицитной модели и модели диалога в этих исследованиях ученые и не-ученые работают на равных. Последние могут поставлять данные, формировать новые исследовательские практики, получать результаты. Обычно подобные проекты связаны с решением прикладных задач или с исследованиями, предполагающими учет локального контекста. Но их основная особенность заключается в том, что в этом случае создается попытка наладить локальное взаимодействие между различными акторами, заинтересованными в научных исследованиях, на основании «координации убеждений и действий» этих двух социальных групп [Галисон, 2004, с. 84]. Результатом успешного формирования зон обмена между учеными и обычными гражданами становится формирование специфического пространства, в котором происходит распространение норм научного этиоса среди различных слоев населения. Не-ученые, работающие в подобных проектах, становятся участниками проектов гражданской науки. Она, конечно же, отличается от обычной, но в любом случае опирается на идеализированные принципы научного этиоса. Учет этих норм обычными гражданами в процессе работы в научных проектах приводит к тому, что они могут опираться на них и в своей жизни. Таким образом,

научные нормы проникают в общество и могут формировать пространства «рационального» осмысления мира и социальной реальности за пределами научного сообщества.

Другим результатом подобных проектов становится осознание учеными специфики определенных исследовательских областей. Равное участие обычных граждан и совместная работа с ними дают им возможность сформировать представление о наличии принципиально важных «локальных» элементов в системе применения и использования знания. Они не могут быть описаны на универсальном языке науки, не всегда могут быть «схвачены» экспертами, а требуют активного взаимодействия с обычными гражданами, обладающими не систематизированным, а зачастую и не поддающимся систематизации знанием, связанным с локальным контекстом. В этом случае нормативный идеал ученых дополняется новым элементом – необходимостью учета локального контекста.

При этом внимательный анализ таких подходов к популяризации научного знания позволяет определить их соответствие познавательному и гуманистическому проекту науки. Ясно, что дефицитная модель популяризации научного знания меньше всего связана с двумя этими проектами. Казалось бы, она исходит из того, что необходимо нести знания в массы. Однако сам способ, которым эти знания передаются массам, имеет мало общего с проектом науки. Знание передается как догма, которая не может быть оспорена. Его можно только осваивать. При этом знание не может быть подвергнуто сомнению. Любое сомнение рассматривается как попытка противопоставить «свету» научной истины «заблуждения» широких масс. В этом случае теряется весь смысл познавательного и гуманистического проекта науки. Она становится не пространством свободного поиска и становления нового знания и человека, а пространством закрепощения мысли и необходимости отказаться от поиска. Конечно же, можно сказать, что подобная стратегия изначально и есть тот элемент техник себя, который позволяет совершенствоваться ученому. Однако в глаза бросается фундаментальное различие между процессом воспитания ученого и реализацией этой стратегии популяризации научного знания. В первом случае, т.е. в процессе воспитания ученого, изначально предполагается достижение двух целей. С одной стороны, освоение знаний, которые уже добыла наука. С другой стороны, освоение научного метода. Лишь в результате совместного решения этих двух задач можно воспитать ученого. При этом изначально предполагается, что это именно ученический этап, после прохождения которого можно вступить на путь самостоятельного научного поиска. Для дефицитной модели популяризации характерен отказ от второй цели обучения ученых.

Стратегия диалога предполагает, что не-ученые и ученые могут совместно реализовывать проекты. Это свидетельствует о том, что она дает возможность не-ученым не только познакомиться с научными знаниями, но и освоить научный метод. В этом случае она позволяет им познакомиться с познавательным и гуманистическим проектом научного знания. Но и тут это знакомство носит эпизодический характер. Ведь постулируются различия между этими социальными группами. Ученые обладают всеми преимуществами знакомства с наукой как с практикой, тогда как не-ученые лишь встают на путь освоения новых знаний. Продолжает существовать асимметрия между этими группами. Никакой настоящей дискуссии между ними вестись не может. Ведь обыватели еще не являются носителями научного этоса, а поэтому ученые всегда должны направлять их исследования.

Лишь стратегия участия оказывается в полной мере связанной с гуманистическим и познавательным проектами науки. Она подразумевает, что не-ученые могут освоить научные практики и активно участвовать в реализации научных проектов. Такая деятельность дает им возможность вступить на путь самосовершенствования, которым идут ученые. Принимать участие в разработке инноваций и в полной мере следовать гуманистическому и познавательному идеалам науки. Лишь в этом случае приходит понимание того, что наука не столько стремится разрушить ценности, сколько сама формулирует новый ценностный подход, основанный на дискуссиях и стремлении принять лишь только то, что позволяет нам лучше понимать мир.

Заключение

Специфика проникновения научного знания в общество, в особенности через проекты популяризации научного знания, как раз и дает возможность ответить критикам науки и современного состояния европейской культуры. К сожалению, обычно научное знание и знакомство с научным методом происходит в процессе реализации дефицитной модели популяризации науки или модели диалога. Однако сами эти модели противоречат познавательному и гуманистическому проектам науки. Вместо того, чтобы представить науку как процесс творческого развития и совершенствования как самого метода, так и человека, обыватель знакомится с наукой как догмой. Научные истины добываются как готовый набор знаний, не существует научных дискуссий. Все это противоречит реальной практике науки. В результате получается, что обыватель, признавая научное знание, не может вступить с ним в дискуссию. Ему остается либо полностью принять его на веру, либо полностью отвергнуть. Но именно в этом случае и происходит разрушение представления о науке как гуманистическом проекте, который связан

с бескорыстным поиском истины, стремлением улучшить мир, сформировать пространство взаимного диалога и уважения. Наука воспринимается как один из механизмов достижения материального благополучия, который не требует сохранения ни традиционных, ни иных ценностей. Правда, она не носит и характера ценностной нейтральности, ведь принятие положений науки требует отказа от всего предыдущего опыта. Без понимания того простого факта, что и нынешние положения будут когда-то отвергнуты, это воспринимается как стремление отказаться от предыдущих достижений.

Реализация стратегии участия в процессе популяризации научного знания может показать, что наука – это гуманистический проект. Он требует от человека смелости самоотверженно и ответственно искать ответы на все новые и новые вопросы. Но сам этот поиск связан с принятием определенного набора ценностей, который не предполагает огульного отрицания идей, которые не нравятся ученому. Наоборот, ответственная реализация познавательного проекта науки требует вдумчивой и благожелательной дискуссии со своими оппонентами, готовности принять даже те результаты, которые изначально казались ошибочными. В этом случае сама наука становится специфическим механизмом выстраивания ценностного консенсуса, формирования пространства любопытства и гуманистическим проектом создания совместного мира жизни ученых и не-ученых, людей и не-людей.

Глава 5

Наука, обращенная к обывателю: о пределах неолиберальной демократизации экспертизы¹⁶

Л.А. Тухватулина

В главе рассматриваются некоторые противоречия неолиберального подхода к демократизации науки и экспертизы на примере концепции Ф. Китчера. Автор анализирует понятие «хорошо упорядоченная наука» (well-ordered science), в котором отражена специфика постнормальной науки. Автор полагает, что ключевой характеристикой «хорошо упорядоченной науки» является неразрывная взаимосвязь между этическими и эпистемическими основаниями научной политики. В главе представлена критика концепции идеальной дискуссии Ф. Китчера. Автор считает, что реализация этой концепции не сулит реальной демократизации научной политики и/или экспертизы, поскольку принципы дискуссии предконструированы экспертами. По сути, «идеальная дискуссия» нацелена лишь на легитимацию принятых экспертами решений. Автор отмечает, что концепция Китчера вписывается в контекст неолиберально-децизионистского подхода к принятию решений, утвердившегося на Западе после Второй мировой войны. В статье обсуждается проблема технократизма и популизма как крайних позиций в дискуссиях о взаимодействии научных экспертов и публики. Автор полагает, что обе эти позиции характеризует недоверие к противоположной стороне в диалоге. Ярким выражением кризиса доверия к современной науке является т.н. дениализм (публичное отрицание научного консенсуса). Автор считает, что, хотя существует целый комплекс причин распространения дениалистских убеждений, дениализм можно рассматривать и как следствие неэффективной коммуникации между экспертами и общественностью. В заключение автор выдвигает тезис о том, что полная демократизация науки и экспертизы невозможна в силу особой «утопической» проекции науки. При этом запрос на демократизацию становится новым ликом гуманизма в науке и экспертизе в контексте постмодернистской критики идеи превосходства научного разума.

Ключевые слова: демократизация, экспертиза, постнормальная наука, Китчер, неолиберальный децизионизм, принятие решений, научная политика.

В современных исследованиях науки важное место занимает не только анализ специфики внутринаучной коммуникации, обеспечивающей высочайший стандарт знания, но и исключительное место науки во взаимодействии с другими социальными институтами. Как справедливо отмечает И.Т. Касавин, «наука становится центром коммуникации благодаря как минимум пяти взаимосвязанным факторам. Это а) выделенная роль научных экспертов; б) всеобщность научного

¹⁶ В главе использованы материалы статьи Тухватулиной Л.А. «После “башни из слоновой кости”»: научная политика и идеал “хорошо организованной науки” в современном мире», опубликованной в журнале “Цифровой ученый: лаборатория философа”. 2021. Т. 4. № 4.

образования; в) увеличение интеллектуальной составляющей любой производственной деятельности; г) инновационная ориентация экономики; д) функционирование науки как образца в системе распределенного знания» [Касавин, 2020, с. 94]. Одним из следствий этой «повсеместности» науки становится запрос на своего рода общественный контроль, выражающийся в призыве к ее большей открытости и «демократизации». Разумеется, речь не идет об идеологическом ограничении и цензуре, а сам запрос скорее касается тех областей научного знания, которые имеют прямой выход на экспертизу. Фундаментальной физике и эволюционной биологии на этом новом витке политического (в широком смысле) интереса к науке, кажется, ничего не угрожает. Однако к тем областям научного знания, которые напрямую затрагивают общественные интересы, внимание становится все более пристальным. Этот запрос транслируется через работы исследователей науки и техники (Ф. Китчера, Ш. Ясановф, Н. Картрайт, Г. Колинза и др.), которые стремятся осмыслить способы согласования интересов науки и общества. Достаточно репрезентативной в этой связи мне кажется неолиберальная концепция демократизации науки Ф. Китчера. Ниже я кратко охарактеризую эту концепцию и покажу на ее примере, насколько неоднозначен сам запрос на демократизацию науки и экспертизы.

Концепция Филипа Китчера, как мне кажется, представляет кристаллизованную версию неолиберального подхода к научной политике – как внешней, так и внутренней. Китчер считает, что современная наука должна ориентироваться не только на точность и прогресс в решении научных проблем. Гораздо более важным становится идеал «хорошо упорядоченной науки» (*well-ordered science*), которая отвечает на правильные (*right*) вопросы правильным образом и где ценностные и методологические основания переплетаются по мере установления «правильности» [Kitcher, 2001]. «Правильность» здесь имеет этическое измерение: Китчер, например, считает предосудительным вложение колоссальных материальных и интеллектуальных ресурсов в поиск средств продления и улучшения качества жизни в странах первого мира, поскольку это происходит за счет тех ресурсов, которые могли бы быть затрачены на решение гуманитарных проблем стран третьего мира. Эти проблемы должны быть в приоритете, потому что их решение при сравнительно малых издержках существенно улучшит качество жизни миллионов людей. Речь, в частности, может идти о более активной борьбе с инфекционными заболеваниями и о поиске технологических решений, связанных с доставкой вакцин в труднодоступные регионы в отсутствие морозильных камер.

Китчер предполагает, что принятие решений в науке, как и в любой другой области, требует оптимального распределения ограниченных ресурсов, где оптимальность измеряется в том числе и упущенными

выгодами. Как следствие, сама постановка вопросов, которые выходят на передний план в исследованиях, требует ответственного решения научного сообщества. И в данном случае ответственность не ограничивается стремлением к добросовестному исследованию, но требует взвешенного ответа на вопрос о том, чем именно наука собирается «одарить» общество. Идеал «хорошо упорядоченной науки» заостряет этические основания традиционных эпистемических вопросов: «1) какие задачи *могут* быть решены в заданное время? 2) каковы последствия предпочтения определенных задач и направлений исследования? 3) какие методы могут дать нам желаемый результат: чего именно они позволят достигнуть и какова цена этих достижений?» [Цит. по: Cartwright, 2006, p. 982].

Тезис Китчера предполагает, что политика науки не должна формироваться из интерналистской перспективы. Даже те аспекты научной практики, которые призваны обеспечивать ее автономию – постановка задач, выбор методологических решений, а также валидация результатов – должны иметь не только эпистемологическое, но и социально-этическое обоснование. При этом, разумеется, Китчер не выступает в защиту идеологического контроля над наукой, цензуры или иного грубого вмешательства в деятельность ученых. Речь скорее о перенастройке внутренней саморегуляции науки. Сегодня ученые не могут руководствоваться исключительно тем принципом, который долгое время воспринимался как непреложный: сущее должно быть познано и результаты научного познания ценны сами по себе [Вебер, 1990]. И эта позиция имеет два аспекта. С одной стороны, в таких чувствительных областях науки, как, например, генетика или фармакология, валидация полученных результатов предполагает нормативную оценку соответствия процедуры исследования не только методологическим, но и жестким этическим регламентам. Причем расширенный этический контекст исследований в этих областях зачастую требует учета интересов и прав не только ныне живущих, но и будущих поколений. На примере этих областей особенно видно, как этика науки накладывает ограничения на поиск истины «любой ценой», интериоризируя внешние для науки нормы и превращая их в эпистемические императивы.

С другой стороны, тезис Китчера предполагает расширительную трактовку моральной ответственности научного сообщества – отныне она не ограничивается ответственностью за результат познания, но включает и ответственность за затраченный ресурс (не столько материально-технический, сколько интеллектуальный). Этот довод не должен быть сведен к пресловутому призыву об отчетности перед налогоплательщиком – скорее речь идет о том, что ученые должны ориентироваться на ожидания, которые связывает с наукой общество, а научная повестка должна соотноситься с общественным заказом. Такое прочтение моральной ответственности ученых предполагает, что ориентир на практическую полезность должен

превалировать над стремлением отодвинуть горизонты знания. Не столько моделирование будущего, сколько решение проблем настоящего должны определять политику науки в условиях тотальной зависимости общества от профессионального знания. Такого рода подход к регуляции науки требует открытой делиберации, которая осуществляется по следующему алгоритму: «В соответствии с бюджетом обсуждаются опции распределения ресурсов между научными проектами, которые укладываются в те моральные рамки, о которых договорились идеальные участники дискуссии. Из этого набора выбирается вариант, обещающий максимальную полезность. Сама полезность задается на основе коллективных пожеланий [collective wish list] и с учетом вероятностей, определенных экспертами» [Kitcher, 200, p. 121]. Этот подход к распределению финансирования, по мнению Китчера, обещает компромисс между выполнением социального заказа и сохранением автономии науки. На мой взгляд, именно в стремлении найти такую «золотую середину» исследователи в STS (Science and Technology Studies) нередко оказываются непоследовательными, а концепция Китчера – яркий тому пример. Так, несмотря на внешнюю уступчивость, Китчер остается защитником «башни из слоновой кости», поскольку никогда всерьез не обсуждает возможности реального участия общественности в экспертизе. Кроме того, даже такое ограниченное участие публики в принятии решений по поводу науки лишь на первый взгляд предстает демократичным. На деле рациональные основания «идеальной дискуссии» заданы таким образом, что внешние участники оценивают полезность и целесообразность тех или иных научных проектов по критериям, сформулированным экспертами. Как следствие, такая «предконструированная» дискуссия никогда не даст неожиданных результатов – она может лишь помочь легитимизировать решения, принятые экспертным сообществом «за закрытыми дверями».

В целом неолиберальный жаргон и обращение к теории рационального выбора – что характеризует подход Китчера – призваны нейтрализовать саму возможность ценностно-мировоззренческих разногласий между участниками и создать общую концептуальную рамку обсуждения. Исследователи отмечают, что теория рационального выбора как *ultima ratio* принятия политических решений стала идеологической основой новой – «онаученной» – версии политического децизионизма на Западе после Второй мировой войны. А децизионизм – независимо от того, отсылает ли он к мессианскому национализму (концепция суверенитета К. Шмитта) или к сухой экономической рациональности («неолиберальный децизионизм») – стремится обосновать необходимость консолидации власти в одних руках в интересах исторической необходимости или политической/экономической целесообразности. «Неопределенность, недостаток информации, незнание и издержки принятия решений стали скрепами послевоенной экономической мысли. А ее развитие происходило параллельно с исчезновением веры в индивидуальную и коллективную рациональность в политической науке» [Guilhot, Marciano,

2018, p. 129]. Исторически переход к режиму «неолиберального децизионизма» был связан с тем, что идея демократии как власти народа оказалась дискредитированной популистскими тоталитарными идеологиями, которые оправдывали волей народа военную экспансию и кровавые репрессии. Отсюда, обретение «нового лика» либеральной демократии должно было решить две задачи: с одной стороны, обеспечить демократическую легитимность политических решений, а с другой – предложить политически нейтральные (научные) критерии для оформления общественных предпочтений. «Сциентизация» либерализма стала ответом на иррациональный популизм 1920-30-х гг. и призвана была подавить в зародыше самую возможность реинкарнации идеи «органического государства». По сути, этот переход ознаменовал утверждение технократической рациональности в политике.

Это отступление в область политической философии призвано показать, что неолиберальные подходы в научной политике, в защиту которых выступает Китчер, вовсе не ориентированы на реальный диалог ученых и общественности. Такой диалог будет формальным до тех пор, пока вопрос о легитимности науки сводится к вопросу об *отчетности* (пусть не только финансовой, но и моральной) перед налогоплательщиком. До тех пор пока роль общественности ограничивается лишь внешним контролем над распределением ресурсов, а соучастие в принятии решений не реализуется на практике, призыв к демократизации экспертизы остается декларативным. Поскольку для Китчера взаимодействие между экспертами и публикой не имеет содержательных целей (не предполагает соучастия обывателей в производстве научного/экспертного знания), то иллюзорного демократизма в принятии решений о финансировании научных проектов оказывается достаточно. Об этом свидетельствует и цитата, характеризующая образ идеальных переговорщиков по Китчеру: «Вместо близоруких избирателей, делающих выбор в условиях незнания последствий, вместо тех, кто полностью погряз в собственных эгоистических желаниях, идеальные переговорщики – это те, кто имеет обширное видение различных траекторий исследования, того, что может быть достигнуто, каким образом те или иные результаты повлияют на других людей, каким образом эти другие формулируют свои стартовые предпочтения» [Kitcher, 2012, p. 371]. Идеальные переговорщики – это те же эксперты, которые, исходя из своей привилегированной позиции, агрегируют общественный запрос, оценивают перспективы его реализации. Программу Китчера можно охарактеризовать как «экспертный децизионизм», поскольку тезис об идеальной дискуссии призван создать лишь видимость «демократизма» в условиях, когда легитимность науки как социального института не может основываться на вере в исключительность научного метода или моральную непогрешимость ученых. Неслучайно один из наиболее ярких критиков Китчера, экономист Филип Мировски, считает тезис об идеальной дискуссии не более чем

спекуляцией: «Сочинять красивые сказочки о демократических плебисцитах, распределяющих правительственное финансирование науки, игнорируя контроль корпораций над научными исследованиями и интеллектуальной собственностью – не это ли образцовый пример того, что Мангейм называл “идеологическим дискурсом”?» [Mirowski, 2004, p. 321].

И действительно, делиберативная модель распределения финансирования в большой науке во многих своих аспектах кажется если не наивной, то несколько декларативной. Однако в защиту Китчера можно сказать, что важнейшим выражением «демократизации» экспертизы являются включение научных проектов в широкую общественную повестку, «опубликование» научной и экспертной деятельности. При этом, безусловно, этот процесс связан с определенными рисками. Как было отмечено Г. Колинзом и Р. Эвансом, ключевым теоретическим вызовом здесь остается нахождение срединного пути между технократизмом и популизмом [Collins, Evans, 2019]. Риски технократизма и популизма обозначают крайние позиции в диалоге науки и общества и возникают тогда, когда одна из сторон (ученые или общественность) «приватизирует» дискурс. Если принцип технократии основывается на ограничении доступа к экспертизе для внешней аудитории (что влечет «узурпацию публичной сферы»), то популизм, напротив, дезавуирует экспертность и потворствует эмоциональным ожиданиям обывателя. Обе крайности блокируют полноценную коммуникацию между учеными и общественностью и культивируют недоверие к противоположной стороне. И, что важнее всего, такие провалы в коммуникации науки и общества зачастую снижают эффективность экспертной политики и препятствуют достижению желаемого блага. В связи с поиском этой «золотой середины» важно и то, каким изменениям подвергается научная рациональность по мере разрушения «башни из слоновой кости» и нарастания взаимодействия между учеными и общественностью (главным образом в рамках экспертной деятельности). Думаю, эта проблема, с одной стороны, связана с тем, что экспертное знание в некотором смысле противоречит природе научной рациональности. Так, скорость принятия политических решений существенно выше скорости достижения научного консенсуса по той или иной проблеме. Отсюда, экспертное знание, которое вынужденно обретает рецептурный характер, предполагает искусственную приостановку научных дискуссий, вынесение сомнений и неопределенностей за скобки. С другой стороны, ученые-эксперты вынуждены выступать в роли политических консультантов, что возлагает на них особую моральную ответственность за последствия их решений. Однако это отчасти может компенсироваться через ограничение экспертного участия технической фазой экспертизы (агрегацией консолидированного мнения ученых по проблеме), в то время как этическая часть – «ценностная» экспертиза того

или иного проекта решений – выносятся на общественное обсуждение. Такой подход предполагает распределенную ответственность за принятие решений и поддерживает публичную сферу. Однако нужно иметь в виду и то, что расплатой за распределение ответственности может оказываться снижение эффективности выбранных стратегий.

Дискуссии о крайностях технократизма и популизма происходят на фоне весьма неоднозначного отношения публики к науке и ее «дарам». С одной стороны, решение глобальных проблем, с которыми сегодня сталкивается человечество, связывается с надеждой на новые достижения ученых. С другой стороны, удивительные открытия и прорывные технологии, которые создает наука, не снижают недоверия к ней. Одним из тревожных проявлений этого недоверия становится дениализм (*denialism*), связанный с огульным отрицанием научного консенсуса в публичной сфере¹⁷. Наиболее известные формы дениализма связаны с отрицанием климатических изменений, борьбой с ГМО, антивакцинаторством, ВИЧ- и ковид-диссидентством. Распространенность дениалистских убеждений создает новые глобальные риски: массовый отказ от вакцинации угрожает новыми эпидемиями, а отрицание климатических изменений некоторыми представителями политических элит обесценивает усилия мирового сообщества в борьбе за «зеленое» будущее. При этом проблема дениализма не имеет очевидных решений. Радикальные меры, связанные с принуждением и санкциями за неподчинение, в современном мире выглядят архаичными и малоэффективными. Кроме того, радикализм разрушает ценностно-нормативный консенсус в демократических сообществах: будучи ориентированными на открытость, инклюзию и разнообразие (*diversity*), они болезненно относятся к политическим мерам авторитарно-директивного характера. Побочным следствием жесткого политического принуждения становится утрата лояльности и доверия элитам. Обращаясь к терминологии Ю. Хабермаса, можно сказать, что в долгосрочной перспективе коммуникативная рациональность во взаимодействии между элитами и обществом оказывается гораздо эффективнее рациональности стратегической.

В контексте интересующей нас темы демократизации экспертизы следует подчеркнуть, что вызовы дениализма требуют переосмысления наивного образа науки как «поставщика» общественных благ. Как отмечает Нэнси Картрайт, «мы, философы, склонны верить в позитивистско-попперианскую картину точной науки [*exact science*], а именно – в идею о том, что наука может давать стабильные непротиворечивые результаты, которые я называю *off-the-shelf results*. Это те результаты, которые помещаются на полку и становятся доступны для широкой аудитории. Теперь их можно взять с полки и применить для

¹⁷ О типологии дениализма и эпистемических пороках дениалистов см.: [Шевченко, Тухватулина, 2020].

решения задач в конкретных обстоятельствах» [Cartwright, 2006, p. 983]. Этот образ предполагает взаимоотношения между наукой и обществом как между производителем и потребителем знания. Такого рода деление не работает в случае с экспертизой, эффективность которой нередко зависит от вовлечения в процесс производства знания обывателей (выступающих в роли «локальных экспертов»). В современных исследованиях критика принципа строгого деления на производителей и потребителей знания, основанного на институциональных критериях принадлежности к экспертному сообществу, имеет не только политическое измерение (в духе общей критики элитизма). В ряде работ было показано, что статусные ограничения на доступ к экспертизе порождают эпистемическую несправедливость, которая становится причиной провалов экспертизы [Fischer, 1992; Barrotta, Montuschi, 2018; Шевченко, 2020 и др.]. Главный тезис критиков состоит в том, что коммуникативная природа экспертизы требует отказа от убеждения о том, что истина – это «кролик из шляпы», которого достают эксперты. Сколь радикально не звучал бы тезис другой сторонницы демократизации экспертизы, Шейлы Ясанофф, с основным посылом приходится согласиться: «В демократическом обществе публичная истина [public truths] – это коллективное благо, которое достигается путем долгой дискуссии о ценностях и постепенным отсевом альтернативных интерпретаций на основе соответствующих наблюдений и аргументов. Это обсуждение включает вопросы о том, какие проблемы заслуживают общественного внимания, за какой образ реальности следует бороться, а также что есть правда и ложь во мнениях профессиональных экспертов» [Jasanoff, Simmet, 2017, p. 763].

И все же тезис о необходимости демократизации науки и экспертизы имеет объективные ограничения. Пределы демократизации определяются невозможностью полного уравнивания в эпистемическом статусе обывателя и эксперта. Это неравенство становится основанием политической субъектности науки, которая состоит не столько в том, что ученые обретают влияние на характер политических решений, сколько в «утопической» проекции самой науки. Причем «утопической» данная проекция оказывается именно из перспективы обывателя. Для прояснения этого тезиса обратимся к цитате из К. Мангейма: «Утопичным является то сознание, которое не находится в соответствии с окружающим его “бытием”. Это несоответствие проявляется всегда в том, что подобное сознание в переживании, мышлении и деятельности ориентируется на факторы, которые реально не содержатся в этом “бытии”. ... Мы будем считать утопичной лишь ту “трансцендентную по отношению к действительности” ориентацию, которая, переходя в действие, частично или полностью взрывает существующий в данный момент порядок вещей» [Мангейм, 1994, с. 164]. На мой взгляд, ученые-эксперты, обращаясь

к обывателям, зачастую выступают в качестве носителей именно такого «утопического» сознания. Классический образ науки предполагал, что наличие непреодолимого разрыва между образами реальности, которыми оперируют ученые, и иными «жизненными мирами» является естественным следствием автономии науки. Однако сегодня, когда наука вынуждена заниматься не только решением «головоломок», но и активно участвовать в принятии общественно важных решений, наличие этого разрыва становится проблемой. С одной стороны, благодаря этому разрыву взаимодействие ученых и не-ученых не может происходить поистине *на равных*. Концептуализируя образы более или менее отдаленного будущего в терминах рисков и угроз, экспертное сообщество отсылает к тому образу «бытия», который недоступен обывателю. Так, когда ученые бьют в набат, привлекая внимание к проблемам снижения биоразнообразия, изменения климата, антибиотикорезистентности и появления «суперинфекций», они словно «взрывают» повседневность обывателя, заставляя беспокоиться о бесконечно отдаленных для него последствиях действий. И все эти риски вычисляются учеными в той самой «башне из слоновой кости», куда обывателю входа нет. Отсюда, монополия на конструирование (пусть и вероятностное) сценариев будущего остается за учеными. (Не в этом ли и состоит квинтэссенция власти?). Обывателю же не остается ничего, кроме как довериться экспертам и согласиться на требуемую ревизию ценностных установок, рутины и потребительских привычек. В этой борьбе за создание образа будущего высвечивается политическое измерение науки. Здесь уместно вспомнить знаменитое определение, данное Лео Штраусом во «Введении в политическую философию»: «Всякое политическое действие несет в себе стремление к знанию блага, в роли которого выступает хорошая жизнь или хорошее общество. Ибо хорошее общество представляет собой завершенное политическое благо» [Штраус, 2000, с. 9]. Сегодня ответ на вопрос о том, что есть «хорошее общество» и «хорошая жизнь», во многом зависит от науки. В этой связи выделенная позиция экспертов накладывает на них особую ответственность за то, чтобы использовать имеющиеся у них властные ресурсы для поддержания открытости в коммуникации с общественностью, создавать условия для соучастия «локальных экспертов», минимизировать институциональные и бюрократические барьеры для доступа к экспертизе. Коммуникативная открытость экспертизы является одним из важных факторов укрепления доверия к ней – а значит, способствует также поддержанию институциональной автономии и авторитета науки.

Тезис о необходимости демократизации, как мне кажется, сегодня отражает новый образ гуманизма в науке и экспертизе. В традициях

классической рациональности превосходство научного разума выделяло интеллектуалов и ученых в особую когорту, которая обладала привилегированными правами на просвещение, создание и трансляцию ценностей и смыслов, на господство над массами. Однако разоблачающая критика научной рациональности XX в. привела к делигитимации науки, приравняв научную рациональность как традицию ко всем другим типам вненаучной рациональности. Продолжением этого движения к уравниванию стал и запрос на демократизацию. Его можно назвать гуманистическим, поскольку демократизация науки и экспертизы должна ориентировать интеллектуальные элиты на большее внимание к интересам людей вне науки. Но эта обращенность – отныне не в исконном гуманистическом стремлении возвысить обывателя, обратить его к истине, расширить мировоззренческие горизонты. Человек, к которому сегодня должна быть обращена наука – не проект, который может (должен) реализоваться, а данность – избиратель, налогоплательщик, носитель локального знания и т.д. И это может вызывать настороженность у защитников элитизма и стражей «башни из слоновой кости», но, по-видимому, движение к демократизации сегодня во многом определяет культурно-исторический контекст эпохи, который, как это было и ранее, окажет влияние и на траекторию развития науки.

Раздел 3.
Коммуникативные контексты познания
и проблема значения

Глава 6 Витгенштейн и теория значения

И.Т. Касавин

2021 г. – столетний юбилей «Логико-философского трактата» Л. Витгенштейна. Для значительной части философского сообщества это повод, чтобы вспомнить о своем долге перед данным философом. Для многих из нас «Трактат» открывал философию XX в. и возбуждал удивление тем, как в нем переплетаются мотивы Юма, Канта, позитивизма и экзистенциализма. В дальнейшем мы увидели, как много в современной философии определяется дискуссиями в том проблемном поле, которое обозначил австрийский философ. Сегодня представление о Витгенштейне как об авторе программного документа Венского кружка, одном из главных философов-неопозитивистов практически утратило значение. Витгенштейн вместе с Гуссерлем – два математика, ушедшие в философию – задали масштабную перспективу философского дискурса, протянувшегося в XXI в. В моем тексте объединяется воспоминание об одном значимом событии витгенштейнианы с попыткой обобщить мои размышления о ее важнейшем концептуальном мотиве – теории значения.

Ключевые слова: Витгенштейн, значение, язык, аналитическая философия, контекстуализм.

Аналитики в австрийской деревушке: картинка на тему современной философии

Международные витгенштейновские симпозиумы в Кирхберге-на-Векселе уже давно стали неотъемлемой частью научной жизни на Западе, но относительно мало популярны среди российских философов. Во многом это определяется давней традицией, когда «выездными» были преимущественно бюрократы от науки. Однако и сегодня ученому не так легко изыскать средства для такого рода поездки, а требуемый высокий уровень квалификации ставит дополнительные барьеры для любителей попусту прокатиться за границу. После безвременной кончины А.Ф. Грязнова (1948-2001), одного из немногих настоящих специалистов по Витгенштейну в России, присутствие россиян на витгенштейновских симпозиумах стало по большей части фрагментарным.

Поэтому едва ли будет излишним напомнить, что Австрийское общество Людвиг Витгенштейна (ALWS) было основано в 1974 г. со штаб-квартирой в Кирхберге-на-Векселе, Нижняя Австрия. Выбор места был обусловлен тем, что в этих местах в 20-е гг. прошлого века Витгенштейн работал в качестве преподавателя начальной школы. Спустя два года после открытия Общества по случаю 20-летия кончины Витгенштейна там состоялась небольшая конференция под названием «Дни Витгенштейна». В дальнейшем она получила название 1-ого Международного витгенштейновского симпозиума. Вскоре после этого

был создан комитет, ответственный за организацию более масштабного 2-ого Международного витгенштейновского симпозиума и всех последующих. Эти симпозиумы и прочие виды деятельности ALWS в основном финансируются правительством Нижней Австрии и австрийским Министерством науки. Для самого же Кирхберга-на-Векселе («Вексель» – название ближайшей горы) – маленького поселка на 2 тыс. жителей, затерянного в Альпах, в котором нет ни книжного магазина, ни общественной библиотеки – фигура Витгенштейна и научно-культурные мероприятия, с ней связанные, являются источником законной гордости и немалой торговой прибыли. Каждый август городок преобразуется: его наполняют сотни людей с интеллигентными лицами, однотипными портфельчиками, они оккупируют все гостиницы, рестораны и кафе, опустошают магазины и говорят на разных языках о науке и философии.

В 2009 г. 32-ому Международному витгенштейновскому симпозиуму предшествовала 1-ая Международная летняя школа – мероприятие для студентов и молодых ученых. Ею руководил известный исследователь философии Витгенштейна Питер Хакер (Оксфорд) и Йохим Шюльте (Цюрих), а организована она была Фолькером Мунцем (Грац), генеральным секретарем ALWS. 50 студентов из 15 разных стран три дня изучали и обсуждали основные аспекты знаменитой проблемы Витгенштейна касательно «приватного языка».

Сам же следующий за этим симпозиум под названием «Язык и мир» был посвящен едва ли не самой существенной проблеме всей философии Витгенштейна, а именно, отношению между языком и реальностью. Помимо обстоятельного разбора идей самого Витгенштейна, во многих докладах обсуждались и смежные проблемы, актуализирующиеся в современной аналитической философии. Этому соответствовал список основных секций, в котором главная секция «Витгенштейн» соседствовала с секциями «Теория знака», «Язык и деятельность», «Язык и сознание», «Язык и метафизика», «Реальность и конструкция», а также с двумя семинарами (workshops) – «Витгенштейн и литература» и «Наследие Витгенштейна». Каждый рабочий день начинался пленарными заседаниями, на которых заслушивались два полуторачасовых доклада, а после ланча продолжалась работа уже по секциям, где на доклад и обсуждение отводилось 40 минут. Большинство пленарных докладов были посвящены анализу тех или иных аспектов философии Витгенштейна, а также ее влиянию на иные области – художественную литературу, общественные науки и математику. Наконец, на заключительном «круглом столе», за которым собрались пять главных пленарных докладчиков: Джеймс Конант (James Conant), Мэри МакГинн (Marie McGinn), Ян Хакинг (Ian Hacking), Йохим Шюльте (Joachim Schulte) и Ханс Слуга (Hans Sluga), предметом рассмотрения стало отношение между философией раннего и позднего Витгенштейна.

Научная программа сопровождалась рядом культурных мероприятий, например, посещением музея Витгенштейна в Траттенбахе, где он работал в школе, спектаклем «Смерть Витгенштейна», дегустацией сидра и прочими банкетами и фуршетами. То обстоятельство, что в симпозиуме приняло участие свыше 350 ученых из 49 стран, сделало его событием поистине уникальным.

Такова объективная канва симпозиума, по отношению к которой никаких разногласий быть не может. Вероятно, будет нелишне дополнить ее некоторыми субъективными впечатлениями от первого лица.

Следует начать с того, что я отправлялся в Кирхберг не будучи лишен известных предубеждений. Ведь предшествующие этому событию 10 лет я ежегодно получал приглашения на этот симпозиум, но в силу тех или иных причин не принимал их во внимание. В 2009 же г. обстоятельства сложились в пользу Австрии, но это никак не противоречило убеждению о том, что там я встречу нечто, напоминающее фан-клуб знаменитого философа. Во мне еще жило воспоминание от месячной стажировки в Оксфордском университете в 1993 г., где для подавляющего большинства «донов» вся философия исчерпывалась Витгенштейном и последующей разработкой его идей. И все же я решил принять правила игры и подготовил доклад на вполне классическую тему: «Чем восполнить теорию значения Витгенштейна?» («How to make the Wittgenstein's theory of meaning complete?»).

Первое, о чем можно было заключить через полгода после этого, когда 7 августа 2009 г. я прибыл в маленькую гостиницу «Kaiser Krone» на главной улице Кирхберга, это отличная организация всего того, что относится к встрече, размещению и информированию участников, а также к компетентности исполнителей и даже к финансированию данного мероприятия. Впрочем, это мало чем отличало данный симпозиум от аналогичных немецких, шведских, английских или французских, в которых мне приходилось участвовать. Существенным отличием было лишь обилие известных имен (хотя, быть может, оно нарастает просто по мере того, как человек знакомится с современной философией?).

Открывал симпозиум пленарный доклад Джеймса Конанта¹⁸ (Чикаго), собравший полный зал еще не успевших устать слушателей. Докладчик – высокий, полный, длинноволосый человек лет 50-ти – был одет в свободно-небрежном стиле, характерном для американцев и пригодном

¹⁸ Увидев его фамилию в программе, я было с удивлением решил, что это – Дж.Б. Конант, знаменитый организатор и историк науки, покровитель Т. Куна, спустя 20 лет после своей кончины решил посетить Кирхберг. Потом я узнал, что докладчик – довольно известный философ, сопредседатель Международного общества Витгенштейна, и слегка устыдился. О Дж. Конанте см.: <http://philosophy.uchicago.edu/faculty/conant.html>.

для прогулок в окружающих горах. Как и подобает первому пленарному докладчику, он держался с видом человека, который отвечает за главное событие всего симпозиума¹⁹, а слушатели подыгрывали ему. Тема звучала так: «От метода к методам». И мне сразу же пришел на ум еще один американец – Пол Фейерабенд с его лозунгом «Against method», философия которого была предметом моей кандидатской диссертации. Опубликованные abstracts Конанта были исключительно краткими. Вот они: «Я прослеживаю развитие идей Витгенштейна от его ранней концепции философского метода до его позднего представления о многообразии методов и показываю, что этот переход происходил постепенно вплоть до решающего поворота в 1937 году» [Conant, 2009, p. 7]. Чтобы было легче видеть, как он это прослеживает, по рядам распространили handout: две страницы с развернутыми тезисами его доклада – в них был всего лишь ряд цитат из Витгенштейна и его комментаторов. И сам Конант тоже избрал форму комментария к данным цитатам, строя свое изложение как рассмотрение последовательности примеров, своего рода case study на тему Витгенштейна по образу и подобию «Философских исследований». Из доклада выходило, что не логика правит развитием мысли, а человек как совокупность конфликтующих ролей и стремлений проживает свою полифоническую биографию, эпифеноменом которой оказываются его труды, содержащие явный и скрытый диалог с другими мыслителями и самим собой, и в них трудно отыскать единство. Витгенштейн же просто отразил магистральную линию мысли, приведшую к пониманию плюралистической природы философии и интеллектуальной культуры вообще. По мере вникания в суть этого доклада я, кажется, понял – и в самом деле, ошибиться было трудно – и тематически, и стилистически перед нами был... постмодернизм в типично аналитическом исполнении. Зал рукоплескал докладчику стоя.

Уже в тот же вечер на лестнице гостиницы я столкнулся с Яакко Хинтиккой, который не нуждается в представлении, и автоматически поздоровался, не будучи знакомым с ним лично, на что услышал: «Мы где-то встречались?». Так и познакомились, в результате чего семь дней я слушал в его исполнении разные смешные истории и критические суждения, сожалея лишь о том, что под рукой нет диктофона. Конечно, среди участников симпозиума его знал и хотел поговорить с ним чуть ли не каждый, он был настоящей особо важной персоной, но, живя в одном с ним отеле, я пользовался привилегией сопровождать его на заседания и

¹⁹ Первый пленарный доклад нередко является объектом дискуссий и конфликтов для организаторов мероприятия. Так, на Всемирном философском конгрессе в Брайтоне (1988 г.) первыми докладчиками по программе являлись К. Поппер и Ю. Хабермас. Однако в последний момент получилось так, что вперед них вырвалась Э. Энском – исключительно по произволу англичан и без согласования с Программным комитетом – не иначе, как наиболее адекватный выразитель интересов аналитической философии, противопоставленной континентальной традиции.

по пути общаться или, точнее, слушать. Среди его историй мне запомнился такой случай, фактическую сторону которого я передаю лишь приблизительно, будучи еще менее способен воспроизвести юмор, которым сопровождался рассказ. Так, Хинтикка еще молодым человеком опубликовал статью о переводе фрагмента из Витгенштейна с немецкого на английский и при этом разошелся во мнении с самой Элизабет Энском, немедленно подвергнувшей его критике. Однако вскоре Хинтикке посчастливилось натолкнуться на одно пояснение Витгенштейна, которое однозначно подтверждало его точку зрения. Она получила выражение в новой статье, на которую Энском не ответила, но молча согласилась, внося соответствующее исправление в очередное издание перевода – так торжествовал свою победу рассказчик.

Я спросил Хинтикку, как ему понравился первый пленарный доклад, и услышал развернутую критику Конанта с позиции предшествующего поколения аналитических философов. Докладчик не знает логики и математики, не знает и не пытается разобраться в том, что составляет сущность концепции Витгенштейна, а всего лишь излагает свои мысли по этому поводу – резюмировал финский логик. Да, ни логики, ни фактов, одна философия – ну куда же это годится?

После этого я даже не пытался получить заключение Хинтикки на мой собственный доклад. Я обосновывал мысль, что связывание значения ни с ментальным содержанием, ни с деятельностью, ни с коммуникацией не делает концепцию значения завершенной. Необходимость учета фактора креативности, создания всякий раз значения (его нюансов в форме метафор, аналогий, коннотаций) заново и есть то обстоятельство, на которое намекал, но которому не придавал должного значения Витгенштейн. Отсюда и сделать витгенштейновскую теорию значения полной можно только выйдя за ее пределы. Тем самым доклад оказался настолько в русле идей Конанта, что мне даже захотелось познакомиться с ним лично, но я сдержался – он был слишком плотно окружен своими почитателями. Конечно, мне внимало несопоставимо меньше слушателей, чем Конанту, и вопросов также было значительно меньше. Один из них – по поводу того, каков теоретический статус концепции значения Витгенштейна – задал Джон Блэкмор, как оказалось позднее – крупнейший специалист по философии Э. Маха. В последующем он прислал мне из США две интереснейшие книги, обзор которых сделан на страницах журнала «Эпистемология и философия науки» в 2010 г.

Председательствовал на секции американец Джеймс Клагге, позднее увлекательно выступавший на тему «Достоевский и Витгенштейн» и приславший по моему предложению статью в наш журнал с критикой элиминативизма.

Секция, которую мне пришлось вести самому, в основном была посвящена философии логики и математики в довольно узком их

понимании, и, хотя выступали на ней молодые философы из Чехии и Бразилии, их идеи находились в русле весьма ортодоксальной аналитической традиции.

Заключительный «круглый стол» главных докладчиков симпозиума, о котором уже было упомянуто, особо интересен одной деталью, обстоятельством. Участники задались принципиальным вопросом: как сформулировать основные результаты, к которым пришел Витгенштейн? После обстоятельного обсуждения они пришли к выводу: такого рода результаты сформулировать нельзя, но можно сказать, что Витгенштейн создал очень значимое поле дискурса, определившее направление развития философии. И в этом выводе вновь проглядывает новое, неэциентистское понимание природы философского мышления.

За неделю участия в симпозиуме мне удалось познакомиться и со многими другими философами, что, хотелось бы верить, тоже принесет свои плоды. С Артуром Гибсоном – специалистом по философии математики из Кембриджа (Великобритания) – мы провели захватывающие два часа в аэропорту, обмениваясь мнениями о состоянии мировой философии.

В заключение – несколько слов о тенденциях этой самой мировой философии, которые инспирированы витгенштейновским симпозиумом. Вне всякого сомнения, это репрезентативное мероприятие²⁰ представляет собой один из главных конгрессов современной аналитической философии. При этом бросается в глаза противостояние старого и нового поколений аналитиков. Первые отстаивают приоритет логического анализа и технических, строгих методов в философии вообще, защищают идею объективности и фактичности философской интерпретации текста, последовательность и обоснованность философского дискурса, в качестве идеала которого выступает *hard science*. Вторые отказываются от формальной логики как метода анализа, практикуют в качестве стиля причудливую вязь комментария к комментарию, видят цель интерпретации текста не столько в выявлении его объективного содержания, сколько в создании, приписывании ему смысла; предпочитая эссеистский стиль, ориентируются не на науку, а на литературу в качестве образца дискурса. Конечно, не только биологическим возрастом определяется приверженность той или иной тенденции: среди молодых встречались еще те консерваторы, а известные авторитеты иной раз блистали новыми идеями и свободой от стереотипов. Тем не менее характерно, что именно яркий представитель более молодого поколения, а не такой авторитет как Хинтикка, получил право на первый пленарный доклад.

²⁰ Вот лишь несколько имен докладчиков (помимо уже упомянутых), известность которых несомненна, поскольку за каждым из них стоит целая школа: Питер Яних (Марбург), Пирмин Штекелер-Вайтхофер (Лейпциг), Питер Хакер (Оксфорд), Пауль Вайнгартнер (Зальцбург), Айке фон Савиньи (Билефельд). Из обнаруженных мной живую (а не только приславших тезисы) российских участников могу назвать Е. Драгалину, В. Лобовикова и А. Павленко.

Качество организации и масштаб представительности 32-го Международного витгенштейновского симпозиума вызывают чувство белой зависти и в очередной раз напоминают российским философам о необходимости «учиться, учиться и учиться», т.е. ориентироваться на мировой уровень философского исследования и коммуникации, публиковаться на иностранных языках и завязывать международные связи.

О значении

Я не буду пересказывать по-русски английский текст своего доклада о значении на данном симпозиуме, в частности, потому что с тех пор я многое из сказанного там уже пересмотрел. Вместо этого я предлагаю небольшой обзор наиболее значимых, на мой взгляд, дискуссий в этой области, а также свой вывод по поводу перспектив философской теории значения.

Понятие значения в аналитической философии языка фактически является аналогом того, что в философии сознания именуется «mind», «consciousness» (англ.), или «Geist» (нем.), т.е. сознанием, духом. С его помощью пытаются схватить ускользающее идеальное содержание человеческого мира, и эта задача оказывается почти невыполнимой в рамках основных установок аналитической философии.

В работах представителей теории речевых актов (Дж. Остин, Дж. Сёрл) и интенционализма (П. Грайс, Дж. Беннет, С. Шиффер) понятие значения рассматривается в контексте своеобразного деятельностного подхода. Так, Остин разработал развитую таксономию речевых актов, чтобы преодолеть «дескриптивистскую ошибку» – отнесение значения только к высказываниям. Он подчеркивал важность анализа деятельности по формулировке высказываний. В интенционализме значение языковых выражений усматривается в намерениях (интенциях) говорящего. Значение – это то, что говорящий подразумевает своим высказыванием или хочет, чтобы другие понимали под ним. Однако интенции не могут быть выражены иначе как в языке, и возникающий вопрос об их собственном значении порождает бесконечный регресс. Во многом именно этим была инициирована критическая дискуссия о значении, когда У. Куайн провозгласил отказ от этого понятия, указывая на отсутствие критериев его определения. В рамках натуралистского подхода он заменяет термин «значение» термином «значение раздражения». Чтобы узнать нечто о значении языкового выражения, нужно понаблюдать, какое поведение членов языкового сообщества вызывают сенсорные восприятия соответствующего высказывания. Однако даже этот бихевиористский подход не придает, согласно Куайну, особой адекватности нашему пониманию значения высказываний, из чего следует его известный тезис о неопределенности перевода. Содержащаяся в концепции Куайна

большая доза скептицизма побудила других участников дискуссии более ясно сформулировать свои позиции.

По-видимому, один из главных вопросов, вокруг которого разворачиваются современные споры, звучит так: какую форму должна иметь теория значения для естественного языка? Согласно схеме П. Грайса [Grice, 1989, p. 213], теорию значения для некоторого языка следует строить следующими шагами: она должна сформулировать высказывания о поведении членов языкового сообщества, заменить психологическую теорию о пропозициональных установках членов этой группы, учесть субъективные значения высказываний, концептуализировать конвенциональные значения высказываний и, наконец, построить «рекурсивную семантику» данного языка. Рекурсивная семантика – это теория порождающей речи, показывающая, что речь состоит из циклов, включающих такие подзадачи, как добавление, удаление и переупорядочение [Демьянков, 1996].

Основные точки зрения располагаются при этом между двумя полюсами: на одном – референциальная, или менталистская, а на другом – натуралистическая, или экстерналистская, семантика. Большинство авторов отстаивает их объединение в той или иной пропорции. Едва ли не наиболее влиятельны здесь позиции Д. Дэвидсона и М. Даммита. Оба связывают понятие значения с понятиями истины или верификации. Центральными в их теориях являются принципы контекстуальности и композиционности. Первый принцип идет от концепции Г. Фреге и предполагает, что слова получают значение только в рамках предложений, вне которых они никаким независимым значением не обладают. Согласно второму, значение сложных выражений складывается из значений простых выражений и правил построения сложных выражений из простых. Теория значения для естественного языка должна быть «рекурсивной» (Дэвидсон) или «систематической» (Даммит) и показывать, как можно на основе конечного множества выражений и правил конструировать и понимать бесконечное множество высказываний. Аргумент для использования данных принципов основывается для обоих философов на факте реального функционирования языка и того, что носители языка в состоянии использовать и понимать такие высказывания, которые до того никогда не слышали. Соображения Дэвидсона по поводу теории значения вытекают из теории истины А. Тарского и работ Куайна. Он использует т.н. «Т-теорему» (от truth (англ.) – истина), имеющую форму «S есть T, если и только если P». При этом правая часть теоремы содержит условия истинности, которые являются значением левой части. Так, «Т-теорема» типа «Предложение “снег бел” истинно тогда и только тогда, когда снег действительно бел» понимается Дэвидсоном как эмпирическая гипотеза, которая должна быть проверена. В этом контексте он развивает свою теорию радикальной интерпретации [Davidson, 1984].

Даммит полагает, что продвинулся значительно дальше Дэвидсона, теорию которого он называет просто «теорией перевода» или «скромной теорией значения», поскольку она говорит нечто о значении высказываний только тем, кто их уже понимает [Dummet, 1993, p. 101]. Успешная теория значения должна быть в состоянии реконструировать знание говорящего, который понимает высказывания. Однако осмысленно говорить о данном знании можно только тогда, когда оно себя проявляет («манифестирует») в употреблении языка. Даммит формулирует «требование манифестации», которое имеет далеко идущие следствия для разрабатываемого им понятия истины. Поскольку о большом количестве предложений мы не можем знать, истинны они или нет, но при этом их понимаем, он отграничивает понимание языковых выражений от условий их истинности и использует вместо них понятия верификации или оправдания. Его вариант теории значения восходит к Фреге; он выделяет в такой теории четыре компоненты: теория референции, теория смысла, теория силы, теория тона или оттенка [Dummet, 1991, p. 148]. Однако возможность построения общей теории значения для естественных языков остается под вопросом. Ведь языковое понимание связано с дополнительными предпосылками, которые такой теорией не учитываются и потому должны обсуждаться в рамках общего герменевтического исследования.

Сложности, связанные с понятием значения, побуждают многих теоретиков ограничиться дискуссиями о референции языковых выражений, в частности имен. Х. Патнэм [Putnam, 1975], С. Крипке [Kripke, 1982] развивают т.н. «каузальные» теории референции, суть которых в понимании языковых выражений с помощью внешних факторов – природного окружения или языкового сообщества. Натуралистические теории предлагают ответ на вопрос о значении языковых выражений, или ментальных репрезентаций, на основе естественно-научной картины мира. В подходах Р. Милликена [Millikan, 1984] или Д. Папино [Papineau, 1993] привлекаются, к примеру, эволюционистские гипотезы, на основе которых проблема значения выражений обсуждается с точки зрения биологических «целей» символической деятельности.

Применительно к витгенштейновской теории значения я обосновывал тезис, согласно которому программа Витгенштейна может быть реализована, если выйти за ее пределы. Дискуссии о значении в аналитической философии наводят на аналогичную мысль. По всей видимости, теория значения требует формулировки в терминах радикального контекстуализма, идея которого подана, но не реализована в работах позднего Витгенштейна. В этом направлении едва ли не больше сделали Б. Малиновский, К. Бюлер и Л. Выготский. Для контекстуалиста значение – это свойство не просто имен или иных знаков языка, но конкретного текста, да и то не самого по себе, а включенного в процесс понимания, в знаковую деятельность, коммуникацию и в отношения с внешним окружением. Тогда текст является

в такой же степени условием понимания и существования значения, как и процесс понимания – условием существования текста как такового. Авторы, пишущие о процессе понимания в целом, обычно отличают его (как стихийный, непосредственный и даже бессознательный акт) от интерпретации (как рефлексивно-теоретической процедуры). Одновременно выделяется пять типов понимания в соответствии с его объектами: 1) людьми, 2) действиями, 3) артефактами и функциональными системами, 4) знаковыми системами, 5) правилами и институтами [Scholz, 1999]. Каждому из них, по-видимому, соответствуют разные научные дисциплины, которые исследуют и практикуют понимание и выделяют смысл и значение особым образом. Казалось бы, понимание текста представляет собой в таком случае лишь один из пяти типов понимания вообще. Однако если мы вспомним, что социально-гуманитарные науки всегда имеют дело с текстом и его пониманием, то картина будет несколько иной. К примеру, лингвисту важно, к каким выводам в состоянии прийти читатель текста, поскольку текст рассматривается как объективная данность, содержащая набор значений (тип 4). Психолог же пытается понять, к каким выводам читатель фактически приходит, какие субъективные состояния сознания у него возникают в связи с чтением текста, т.е. как изменяется субъект (тип 1). В отличие от этого социология фокусируется на понимании того, как в тексте явно или неявно находят выражения социальные правила и институты (тип 5). Экономика, теория деятельности, теория вероятности, теория принятия решений и пр. направлены на понимание человеческой деятельности, в том числе того, как она фиксируется и проявляется в тексте и в его производстве (тип 2). И лишь философ проблематизирует всю систему отношений «читатель – текст – значение – языковая деятельность – контекст».

Понимание текста как предмет эпистемологического анализа включает в таком случае все другие типы понимания. За текстом проглядывает личность и биография автора, стиль и манера письма, культурные реалии эпохи, социальные системы. Именно тогда понимание становится подлинной проблемой, не имеющей однозначного решения и порождающей массу риторических вопросов. Содержит ли текст значение сам по себе? Если нет, то привносится ли оно в текст читателем? Но чего стоит это значение, если оно понятно лишь данному читателю? Или текст наполняется значениями и смыслами благодаря культурному окружению? Но не является ли тогда различие культур и языков непреодолимой преградой для понимания? Стоит ли вообще рассматривать понимание как мыслительную процедуру? Быть может, «понять» значит «уметь станцевать», или «улыбнуться в ответ», или вообще «ужаснуться бездонности смысла»?

Мне представляется, что если бы сегодня состоялась наша очная встреча с Витгенштейном и я бы изложил ему такую трактовку значения, то он определенно не стал бы хвататься за каминную кочергу.

Глава 7

Общественное развитие и гуманизм: лингвистическое измерение

П.С. Куслий

В главе обсуждаются проблемы той дистанции, которая существует сегодня между бытующими в обществе представлениями о природе языка и научным видением этого феномена. Рассматриваются примеры того, как стереотипы относительно природы языка формируют общественные нормы и тем самым оказывают негативное воздействие на жизнь общества. В частности, рассматривается ряд случаев проявления языкового прескриптивизма и видения языка в качестве маркера общественного статуса, культурного или интеллектуального развития. Также на материале международного опыта приводятся примеры стратегических решений в области образования или экономического развития, основанных на предубеждениях относительно языка. Выявляется ряд базовых черт, присущих стереотипам в области языка. Эксплицируется научный взгляд на природу, происхождение и развитие естественных языков на материале современной генеративной лингвистики. Выявляются ключевые расхождения между ненаучными взглядами на язык и его научным пониманием. Рассматриваются примеры общественного активизма со стороны ученых-лингвистов, нацеленного на преодоление общественных стереотипов и выработку более корректного регулирования общественной жизни, которое не опиралось бы на заблуждения относительно природы языка. В заключении обозначается ряд примеров из сугубо научных дискуссий о языке, показывающих, что научный взгляд на язык не является статичным и претерпевает постоянное обновление, что стереотипы могут существовать и в науке и что их преодоление является одним из главных аспектов развития общества.

Ключевые слова: языковая природа человека, стереотипы относительно языка, генеративная лингвистика, развитие, научное языкознание.

Введение

Общественный прогресс – явление многогранное, и подразумевает не только развитие технауки, но и то, что часто называется моральным или нравственным развитием общества²¹. Прогрессивное общество – не только

²¹ В последнее время тема прогресса в области морали всё чаще обсуждается в широких философских и научных кругах. Одним из ярких примеров является выход объемного труда известного психолога, лингвиста и популяризатора науки С. Пинкера (см. русский перевод: [Пинкер, 2021]), в котором доказывается, что уровень насилия в современном обществе существенно ниже, чем в более ранние исторические периоды, и что по мере развития человечества моральный облик людей улучшается. Дискуссии вокруг этой работы включают в себя и тексты, в которых отстаивается обратная позиция, согласно которой человечество не прогрессирует в моральной сфере, в отличие от сферы технауки, и развитию в духовной сфере жизни человека еще только предстоит начаться параллельно со становлением новой науки о человеке (см.: [Никифоров, 2021]). Как бы то ни было, обе стороны

общество, представители которого имеют множество гаджетов и умеют ими пользоваться, но и общество, в котором гуманитарные науки оказывают влияние на жизненный мир человека. Это – то общество, в котором достижения гуманитарных наук интегрируются в механизмы общественного устройства. При этом один из ключевых элементов влияния науки (в том числе и гуманитарной) на отдельных людей и общество в целом заключается в преодолении тех стереотипов, которые по разным причинам возникают в ходе жизни общества. Замена стереотипов научным мировоззрением и выстраивание людьми уклада их жизни на основе научных представлений о мире и человеке – один из базовых признаков прогресса в обществе.

Являясь изначально инструментом, используемым людьми для мышления, коммуникации, хранения и трансляции информации, язык пропитывает практически все сферы жизни людей. Из-за этого он обретает и множество дополнительных функций, становясь, например, показателем культурной или национальной принадлежности людей и способом их самоидентификации в иных сферах жизни, а также инструментом для маркирования групп людей в самом широком смысле этого слова. Все эти сферы использования, как базовые, так и производные, переполнены заблуждениями и предрассудками, связанными с ненаучным видением природы языка. Нередко эти заблуждения, будучи разделяемыми политиками и иными руководителями, оказываются в основании целых региональных или даже государственных программ по развитию.

В этой статье обсуждается тот вклад, который делает лингвистика в развитие знания о природе естественного языка, и те общественные стереотипы, которые с помощью результатов, получаемых лингвистической наукой, преодолеваются или могут преодолеваться, а также та значимость, которую преодоление стереотипов относительно природы естественных языков имеет для жизни общества. В начале будут рассмотрены некоторые стереотипы относительно языка, которые регулируют сферу обыденной жизни людей и связаны с представлениями о грамотной или культурной речи, а также с использованием языкового признака для проведения различий, к сути которых язык не имеет никакого отношения. Здесь будет показано, в чем именно взгляд современного языкознания отличается от предрассудков и как область, описываемая с помощью предрассудков о языке, выглядит при научном взгляде на нее. Далее от случаев обыденных предрассудков мы перейдем к рассмотрению некоторых из тех предрассудков о природе языка, которые де-факто ложатся в основу государственных программ по образованию и экономическому развитию отдельно взятых стран мира. Здесь также будет показано то, как проблемное поле, на которое ориентированы

противостояния в рамках дискуссий вокруг темы морального развития человечества согласны с тем, что она обладает базовой значимостью для общества.

соответствующие государственные программы, выглядит с точки зрения научного языкознания. Будут рассмотрены конкретные примеры ученых-лингвистов, стремящихся изменить положение дел к лучшему в указанных областях. Наконец, мы рассмотрим и некоторые дискуссии внутри языкознания, которые также могут приводить к преодолению стереотипов уже не в общественной или политической, а непосредственно в научной жизни. В данном случае будет сложнее достигнуть той же ясности между тем, что имеется, и тем, что должно иметься, как при научной критике явно ненаучных взглядов. Наука об эмпирических феноменах (таких как язык) изначально является предприятием «с открытым концом» и по своей природе не имеет раз и навсегда заданных и неизменных истин²². Однако мы, тем не менее, попытаемся выявить некоторые проблемы природы языка, относительно которых в современном языкознании возникают принципиальные дискуссии.

Главная цель данного исследования состоит в том, чтобы на примере того влияния, которое оказывает на общество научное языкознание, проиллюстрировать то, как наука и гуманизм могут идти рука об руку для достижения того, что может быть названо «общественным прогрессом».

Некоторые стереотипы относительно естественных языков и диалектов

По-видимому, к одним из самых расхожих стереотипов относительно языков относятся стереотипы относительно диалектов. Чаще всего эти стереотипы выражаются в связывании столичного диалекта с образом «правильной» разновидности языка. Так, ярко выраженный региональный (провинциальный) выговор нередко связывается с неграмотной речью, а к его обладателю может зачастую приклеиваться ярлык человека с т.н. «низким уровнем культуры». Показательным примером является глагол «звонить», для которого при использовании в третьем лице единственного числа в современном русском языке имеется вариация в ударении между первым и последним слогом. При этом существует стереотип, согласно которому ударение на первом слоге является маркером некультурной речи. Работы профессоров сценической речи представляют собой кладезь заблуждений, сформулированных в совершенно неприкрытом виде. Так, заведующий кафедрой Екатеринбургского театрального института профессор А.В. Блинова утверждает: «Неправильное ударение в этом слове с головой выдает невысокий культурный уровень человека» [Мационг, 2019], а ее коллега из ВГУ (института) им. М.С. Щепкина Е.А. Вдовина продолжает: «Если новый собеседник скажет, что “позвóнит” Вам, – захочется ли Вам продолжать знакомство с ним без

²² Хотя, разумеется, более абстрактные теоретические утверждения в рамках той или иной дисциплины с меньшей частотой подвергаются пересмотру, чем ее более эмпирические утверждения [Quine, 1970].

веских причин?» [Вдовина, 2013]. Развивая свою мысль, профессор Вдовина выявляет и причины расхождения данного феномена, и способы исправления ситуации: «В советское время роль главного “учителя” в области произношения брали на себя радио и телевидение. С их появлением т.н. “московский говор”, признанный в качестве нормативного произношения, начал оказывать влияние не только на речь некоренных москвичей, но и на произношение жителей всего Советского Союза. ... Произношение нынешнего поколения работников эфира далеко от идеального. ... Очень часто молодой человек не осознает себя носителем диалекта, ему довольно трудно понять, чем его речь отличается от нормы. Очень многие носители диалектного произношения хотят избавиться от своих недостатков и приблизить свою речь к идеалу. Особенно это характерно для людей “речевых” профессий – учителей, журналистов, адвокатов, политиков, актеров» [Там же].

Данные цитаты сразу репрезентируют и идею диалектного неравенства, и столичную исключительность, и транслируемую необходимость перехода от «неидеальной» речи к «идеальной», в особенности для тех, кто занимается определенными профессиями. Что интересно, эта цитата также указывает и на то, что люди могут совершенно естественным образом не осознавать, что с их языком «что-то не так». При этом никто и нигде не указывает, что, собственно, случится такого негативного, если в театре или кино на телевидении будут играть актеры с разными говорами, и в чем будет заключаться проблема в подобной ситуации. Легко заметить, что максима, лежащая в основе подобной установки такова: если ты культурный человек, то ты говоришь «звонит», а не «звóнит». По контрапозиции отсюда следует, что те, кто говорит «звóнит» не являются культурными людьми. Поэтому, наряду с вопросом о том, в чем проблема с театром, где актеры говорят на разных региональных говорах (особенно в тех спектаклях, где действие не привязано к тому или иному региону), возникает и вопрос о критериях культурности, предполагаемых с точки зрения обозначенной выше позиции. Почему культурный человек не может говорить «звóнит»? В чем связь столичного выговора с уровнем культуры?

Подобное видение не индивидуально, а представляет собой расхожий общественный стереотип. Единомышленников упомянутых выше самоназначенных специалистов по «идеалу» в использовании языка всегда и везде было предостаточно²³.

Общее ядро всех этих позиций – в представлении о том, что есть некая «правильная» норма языка, придерживаться которой должен каждый воспитанный/культурный/интеллигентный/статусный или как-то иначе положительно маркированный в обществе человек. Разумеется, несложно найти немалое количество контраргументов данной позиции или

²³ См., например, еще одну популярную книгу Т. Гартман: [Гартман, 2019].

наглядных примеров реальных людей, совмещающих высокий уровень культуры и наличие того диалекта, который упомянутые авторы считают «неидеальным». Однако наиболее показательным способом изобличить всю надуманность такой нормативной аргументации является обращение к единомышленникам этих авторов из прошлого, которые в своих опубликованных работах обрушивались на те диалектные девиации от нормы их времени, которые с тех пор стали совершенно допустимыми. Хорошо, например, известно, что с недавних пор (а точнее – с сентября 2009 г.) слово «кофе» официально употребляется как в мужском, так и в среднем роде. Долгое время нормой считалось употребление этого слова только в мужском роде, и многие педанты воспринимали людей, говорящих на диалекте, в котором это слово имеет средний род, примерно так же, как вышеобозначенные авторы воспринимали людей, говорящих «звóнит». Но что именно изменилось в 2009 г., когда о допустимости среднего рода было объявлено в СМИ? Все некультурные люди стали культурными? Если средний род для слова «кофе» в одночасье стал «нормой», то это означает только то, что устанавливаемая норма не имеет никакого отношения к уровню культуры или интеллектуального развития людей. Как указывает известный российский лингвист В.А. Плунгян, в русском языке на протяжении десятилетий наблюдается тенденция смещения ударения в глагольных словоформах на коренной гласный звук. Такие глаголы как «звонить» или «включить» не претерпели еще эту трансформацию (видимо, отчасти и потому, что их трансформированная таким образом форма оказалась маркированной в описанном выше плане), однако со многими другими глаголами это уже давно произошло²⁴. Хорошим примером здесь является глагол «варить», для которого форма третьего лица единственного числа с ударением на первый гласный звук («вáрит») не вызывает никаких претензий, по-видимому, даже у самых придирчивых специалистов по сценической речи. Однако еще в 1970-е гг. нормой была форма «варíт»²⁵.

Подход к языку, согласно которому соответствие той или иной норме (зачастую выбираемой случайно) является показателем «правильности» языкового употребления, называется «прескриптивным» и предполагает навязывание определенной нормы носителям языка. Подход к языку, исповедуемый современной лингвистикой, называется «дескриптивным». Он исходит из того, что языки или диалекты следует изучать в том виде, в котором они существуют. Их носители являются главными источниками экспертного знания о том, корректна или некорректна та или иная фраза в их диалекте. Сами же диалекты равны между собой: нет более или менее

²⁴ См.: [Плунгян, 2015].

²⁵ Так, например, в одном из самых популярных советских телефильмов «Семнадцать мгновений весны» один из актеров использует именно форму «варíт».

корректного или идеального диалекта. Предпочтение одного диалекта другому не имеет под собой никакой научной лингвистической базы.

Более того, само различие между языками и диалектами не является строгим. Между т.н. «диалектами» китайского языка различий зачастую гораздо больше, чем между отдельными европейскими «языками». Баварский «диалект» немецкого языка – это, в общем-то, тоже другой язык, ибо носители других диалектов немецкого могут совершенно не понимать носителя баварского. Наличие взаимопонимания, в свою очередь, не говорит о том, что собеседники общаются на одном языке. Близкие языки – например, славянские – зачастую допускают взаимопонимание, однако не перестают при этом считаться разными языками. Известно, что если путешествовать пешком из Берлина в Амстердам, то люди, живущие на расстоянии 10-15 км друг от друга на всем протяжении пути, будут понимать друг друга при общении, что, казалось бы, означает, что все они говорят если не на одном диалекте, то как минимум на разных диалектах одного и того же языка. Однако люди, живущие в Берлине и Амстердаме (начальной и конечной точках этого пути), не понимают друг друга и совершенно точно говорят на разных языках.

Иногда говорят, что язык – это диалект плюс армия и флот. Это высказывание подчеркивает, что тот или иной диалект может считаться отдельным языком по сугубо политическим причинам. Примером здесь могут быть Сербия и Хорватия, где, как считается, говорят на разных языках. В 1995 г. во время споров о том, является ли македонский язык диалектом болгарского языка, президент Македонии (страны, известной сегодня как Северная Македония) общался со своим болгарским коллегой с помощью переводчика, утверждая, что без него не понимает собеседника, тогда как болгарский президент обходился без переводчика, настаивая, что они с коллегой друг друга прекрасно понимают. Эти примеры показывают, как язык может использоваться для задач распределения власти, самоидентификации и иных нелингвистических целей.

Разумеется, подобное поведение людей приводит к закреплению известных стереотипов относительно природы естественных языков. Научное знание лингвистов способно прояснить положение дел и рассеять те заблуждения, которые существуют в публичной сфере. Использование этого знания, однако, всегда зависит от желания заинтересованных лиц в том, чтобы, преследуя свои цели, опираться на научно обоснованную позицию, а не на правдоподобные стереотипы, утверждение которых может давать кому-то необоснованное ощущение собственной исключительности, статусности и т.п. Ниже мы рассмотрим некоторые примеры социальной несправедливости, к которой привели стереотипы относительно языка, однако до этого мы рассмотрим более подробно базовые теоретические аспекты одного распространенного научного подхода к изучению языка.

Естественный язык с точки зрения научного языкознания на примере генеративной лингвистики

1.1. Концепция генеративной грамматики – базовые постулаты

Генеративная грамматика – программа по теоретическому исследованию естественных языков, разрабатываемая Н. Хомским и его последователями. Одним из ключевых постулатов этой концепции является утверждение о том, что способность к освоению языка является врожденной когнитивной способностью вида *Homo sapiens*. Согласно Хомскому, люди рождаются с неким инстинктивно заложенным в них знанием, с т.н. «универсальной грамматикой», т.е. набором принципов или самых общих правил, по которым могут функционировать языки, которые могут освоить люди. Те языки, которые в конечном счете осваиваются детьми, могут иметь разные грамматические правила (например, в одних языках прилагательное располагается до существительного, а в других – после), и врожденное знание не предполагает знание конкретного языка. Оно скорее предполагает то, какая знаковая система может быть освоена ребенком в качестве языка, а какая – нет.

Хомский пишет: «УГ может рассматриваться как характеристика генетически детерминированной языковой способности. Эту способность можно понимать как “устройство по освоению языка”, т.е. как врожденный компонент человеческого сознания, который порождает определенный язык в результате взаимодействия с текущим опытом, т.е. устройство, конвертирующее опыт в систему обретенного знания – знания того или иного языка» [Chomsky, 1986, р. 3]. Таким образом, способность к языку здесь понимается как генетическая предрасположенность.

Взаимодействуя с родителями и другими людьми из своего окружения, ребенок осваивает язык (сначала просто слушая их, а потом тоже пытаясь использовать язык). В этом процессе активизируется эта его генетическая предрасположенность. Именно она помогает ребенку в довольно раннем возрасте освоить такую сложную знаковую систему как естественный язык.

Одной из важных отправных точек для развития и становления генеративной грамматики стала критика Хомским бихевиористских подходов к объяснению того, как ребенок осваивает язык [Skinner, 1957]. Если говорить коротко, то, согласно бихевиористскому подходу, владение языком означает обладание соответствующими поведенческими диспозициями, а обучение языку, соответственно, заключается в обретении таких диспозиций. Ребенок, получая от окружения стимулы, закрепляет их в качестве поведенческого паттерна, что приводит к его постепенному

освоению языка через все больший опыт такого взаимодействия. В рамках своей критики Хомский показывает, что освоение языка не может реализовываться таким способом. Он пишет: «Я часто использую слова “Эйзенхауэр” и “Москва”, которые, насколько я понимаю, однозначно являются именами собственными, но я никогда не получал стимулов от этих объектов» [Chomsky, 1959, pp. 32-33]. Более того, использование языка как родного предполагает возможность без труда выражать как новые мысли, которые ранее никем не выражались (и, соответственно, использовать для этого ранее не формулировавшиеся предложения), так и бесконечно длинные, но при этом грамматически корректные предложения с помощью существующего в естественном языке инструмента рекурсии («Он стоял слева от человека, который стоял слева от человека, который стоял слева от человека, который стоял слева от человека, который...»). Такие предложения тоже никто никогда не формулировал. Каким же образом такая способность может возникнуть у ребенка, если он осваивает язык бихевиористскими методами?

Более того, как указывает Хомский, дети осваивают язык, просто слушая других и взаимодействуя с ними, без каких-либо проб и ошибок. При этом тот языковой опыт, с которым они сталкиваются, далеко не идеален, он содержит оговорки, ошибки, незаконченные фразы и зачастую вообще не является членораздельным потоком. Однако при этом ребенок осваивает язык корректным образом. Это означает для Хомского, что языковая компетенция представляет собой более сложное и обширное знание, которым пользуется носитель языка и которое обретает ребенок в сравнительно раннем возрасте. Ребенок осваивает язык, задействуя заложенную в нем генеративную грамматику, и, опираясь на обрывочные и нечеткие данные внешнего языкового опыта, самостоятельно воссоздает грамматику того языка, на котором с ним общаются, как некую систему синтаксических правил, позволяющих ему строить бесконечное множество грамматически корректных высказываний и выявлять те высказывания, которые этим правилам не соответствуют (являются неграмматичными). Хомский пишет: «Под генеративной грамматикой я подразумеваю просто систему правил, которая явным и четко определенным образом накладывает структурные описания на предложения. Разумеется, каждый носитель языка освоил и интернализировал какую-то генеративную грамматику, выражающую его знание его языка» [Chomsky, 1965, p. 8].

Ошибки, совершаемые детьми при освоении языка, не являются случайными, а копируют те языковые правила и конструкции, которые реализованы в других языках. Это происходит потому, что дети, осваивая язык, порождают его грамматику, строя гипотезы на основании заложенной в них генеративной грамматики, т.е. используют правила, которые в принципе возможны для

человеческого языка. Неудивительно, что такие правила оказываются реализованными в тех или иных реальных языках [Crain et al., 2017].

Хомский подчеркивает уникальность языковой способности человека. Человеческий язык отличается от любых других систем общения в животном мире. Как уже было сказано выше, человеческий язык позволяет его носителю сформулировать неограниченное количество осмысленных выражений из ограниченного количества отдельных языковых единиц. Память человека не бесконечна, и возможность формулировать бесконечное число грамматически корректных высказываний из конечного числа выражений осуществима, только если правила сочетания таких выражений являются рекурсивными. Грамматика, содержащая рекурсивные правила, не ограничивает длину формулируемых выражений. Их могут ограничить только способности человека к обработке информации или время, которое он может потратить на эту обработку (жизнь конечна в отличие от длины допускаемых грамматикой высказываний). Рекурсивность грамматических правил, по Хомскому – одно из главных свойств человеческих языков, которыми они отличаются от знаковых систем, используемых животными. Знаковые системы, используемые животными, в отличие от человеческих языков, всегда строго детерминированы. Хомский пишет: «Человеческий язык представляется уникальным феноменом, не имеющим значимого аналога в животном мире» [Chomsky, 2006, p. 59]. В свете этого изучение правил, из которых состоят грамматики отдельных языков, равно как и тех общих ограничений, которые применяются к естественным языкам в целом, превращается в изучение когнитивной природы людей: «Существуют очень глубокие и рестриктивные принципы, которые определяют природу человеческого языка и которые укоренены в специфическом характере человеческого сознания» [Chomsky, 2006, p. 90]. Лингвистика оказывается эмпирической дисциплиной, изучающей когнитивные способности человека.

В свете всего вышесказанного должно стать гораздо понятнее, почему, с научной лингвистической точки зрения рассуждения прескриптивистов о языке не имеют убедительной силы. Да, человеческие языки отличаются от знаковых систем, используемых животными рядом особенностей, однако они, тем не менее, являются равными между собой проявлениями общей для всех людей инстинктивной, врожденной способности, именуемой «генеративной грамматикой», которую составляют синтаксические правила и т.н. функциональные термины (союзы, детерминаторы и другие подобные выражения), но не термины обыденного лексикона, которые, действительно, могут легко добавляться в языки или исключаться из них [Carnie, 2013]. В этой связи показательным является иронический пассаж из известной книги С. Пинкера «Язык как инстинкт», который я приведу здесь целиком:

«Представьте себе, что вы смотрите документальный фильм о дикой природе. Экран показывает обычные роскошные виды: животных в их естественных местах обитания. Но голос за кадром сообщает вызывающие беспокойство факты. Дельфины плавают не тем стилем. Белоголовые воробьиные овсянки безответственно понижают качество своего чириканья. Гнезда синиц не так сконструированы, панды держат бамбук не в той лапе, песня горбатого кита содержит несколько всем известных ошибок, а крики обезьян уже на протяжении нескольких сотен лет находятся в состоянии хаоса и деградации. Вы наверняка отреагируете на это так: “Что, черт возьми, это за „ошибки в песне горбатого кита”? Разве песня горбатого кита это не все что угодно, что захочется спеть горбатому киту? И, как бы там ни было, кто этот комментатор?”

Но люди считают, что такое же заявление о человеческом языке не просто исполнено глубокого значения, но еще и повод для тревоги. Джонни не может составить грамматически правильное предложение. Образовательные стандарты падают, а поп-культура насаждает непроницаемый бредовый жаргон серфингистов, диск-жокеев. ... И мы превращаемся в безграмотную нацию – неправильно употребляем hopefully “авось”, путаем lie “ложиться” и lay “лежать”, считаем, что слово data “данные” стоит в единственном числе и позволяем нашим причастиям быть обособленными. Английский язык будет постепенно приходить в упадок, пока мы не вернемся к основам и не начнем вновь уважать наш язык» [Пинкер, 2009].

1.2. Эмпирические свидетельства в поддержку универсальной грамматики

Выше генеративная грамматика была представлена мной как некий теоретический постулат, оказывающийся более удобным средством объяснения языковой способности людей, чем бихевиоризм, хотя бедность стимула при выработке ребенком языковой компетенции была обозначена как один из основополагающих пунктов эмпирически фундированной критики бихевиоризма. Однако сторонники генеративизма приводят и другие эмпирические свидетельства и аргументы в поддержку данной концепции. Ниже я коротко обозначу некоторых из них.

Бедность стимула как отсутствие негативных свидетельств. Не менее важно и то обстоятельство, что дети, осваивающие язык, не получают и т.н. «негативные данные», т.е. грамматически некорректные предложения с указанием на то, что они являются грамматически некорректными. Ведь без таких негативных данных ребенок мог бы обрести представление о грамматике своего языка как содержащего все реальные правила и еще некоторые экзотические правила, которые в этом языке отсутствуют, но использование которых настолько редкое,

что сформированные по ним предложения просто не встречаются в опыте. Наличие у ребенка такой более слабой грамматики никак бы не проявляло себя в обыденных речевых ситуациях. Однако дети, как показывают исследования, таких более слабых грамматических гипотез не создают. По мнению генеративистов, это подтверждает тезис о том, что грамматика осваиваемого детьми языка ограничена именно их внутренней предрасположенностью.

Структурная природа языковой компетенции. Хомский и его последователи приводят множество примеров, демонстрирующих, что дети хотя и слышат линейную последовательность звуков, но воспринимают слышимое структурно, т.е. исходят из того, что воспринимаемая ими звуковая последовательность представляет некую структуру, организованную нелинейным образом. Известным примером является различие между предложениями «John is too stubborn to talk to Bill» («Джон слишком упрям, чтобы разговаривать с Биллом») и «John is too stubborn to talk to» («Джон слишком упрям, чтобы с ним разговаривать»), которые содержат идентичную часть («John is too stubborn to talk to»), но при этом сильно разнятся по смыслу: в первом случае речь идет о том, что сам Джон отказывается от того, чтобы заговорить с Биллом, тогда как во втором предложении отказ от общения осуществляется не Джоном, а любым случайным человеком. Это различие не в самой линейной последовательности (повторяющейся в обоих случаях), а в структурах, которые выражаются ею в описанных ситуациях. Хомский указывает, что дети улавливают его без какого-либо специального натаскивания [Chomsky, 1986, p. 8]. Это говорит о том, что структурное восприятие языка заложено в них изначально.

Еще одним примером, демонстрирующим то же самое, является то, как дети осваивают правила составления полярных вопросов в английском языке. Полярный вопрос к предложению «The boy is hungry» строится путем перемещения глагола «is» из его исходной позиции следующим образом: «Is the boy _ hungry?» (прочерк маркирует исходную позицию «is»). Если рассматривать это правило линейно, то можно было бы сказать, что для образования вопроса необходимо передвинуть в начало предложения «is». Однако вопрос к более сложному предложению «The boy who is alone is hungry» выглядит так: «Is the boy who is alone _ hungry?». Здесь вперед выдвигается не первый в линейной последовательности глагол «is», а второй. Передвижение первого по счету глагола грамматически некорректно и дает совершенно неинтерпретируемую конструкцию «Is the boy who _ alone is hungry?». Сходная ситуация возникает и с предложением «John is the boy who is hungry», но здесь для корректного образования полярного вопроса надо снова выдвинуть тот глагол «is», который линейно является первым. Генеративисты указывают, что дети изначально знают релевантную

разницу и никогда не формулируют вопросов, содержащих обозначенную выше ошибку. Это говорит о том, что они изначально идентифицируют ту структурную позицию, которую занимает в каждом из двух предложений передвигаемый глагол «is». Это является дополнительным эмпирическим свидетельством в пользу теории генеративной грамматики.

Языковая способность как инстинкт. Одной из характеристик, указывающих на инстинктивное или биологически детерминированное поведение, с которым не рождаются, а которое актуализируется уже после рождения, является т.н. «критический период». Это – то время, когда у животных происходит инстинктивное обучение тем или иным навыкам [Hubel, Wiesel, 1970]. Как правило, такой период имеет достаточно жесткие временные рамки. Например, зоолог К. Лоренц, изучавший серых гусей и открывший феномен импринтинга, установил также, что период, отводящийся на импринтинг, длится не более суток. Если за указанный срок птенец не идентифицировал мать в качестве движущегося объекта, то потом он этого уже сделать не может. Освоение языка также имеет свой критический период [Lenneberg, 1964, 1967]. Считается, что критический период для освоения первого языка как родного – примерно до 6 лет и что ребенок может освоить другие языки как родные до периода полового созревания. После этого времени его обучение языку, как в плане использования корректного синтаксиса, так и в плане корректного воспроизведения звуков, разумеется, возможно – многие люди учат иностранные языки будучи уже взрослыми. Однако носители этого языка будут замечать, что для такого человека используемый им язык не является родным [Lippi-Green, 1997, pp. 48-51].

Известные случаи т.н. одичавших детей, не имевших контакта с языковой средой в раннем возрасте, также подтверждают наличие критического периода для освоения языка. Одним из наиболее известных примеров является пример девочки Джини, обнаруженной в 1970-е гг. в пригороде Лос-Анжелеса [Curtiss, 1977]. Родившись в семье психически больных родителей, Джини была долгие годы прикована к своему горшку в подвале, и ей было запрещено разговаривать. Она была освобождена в 13 лет, т.е. будучи уже в возрасте полового созревания, и уже не смогла освоить английский язык так, чтобы говорить на нем как на родном. Несмотря на то, что этот пример не является полностью убедительным (ибо неспособность Джини освоить язык могла быть вызвана и другими причинами, а не только тем, что критический период для освоения языка для нее уже был завершен), случай Джини считается одним из наиболее известных косвенных эмпирических свидетельств гипотезы об инстинктивной природе естественного языка.

Возникновение новых языков. Случаи появления новых языков на базе уже существующих пиджинов, т.е. конвенциональных видов речевой коммуникации, не имеющих систематической грамматики, также часто

рассматриваются как основания в пользу гипотезы о генеративной грамматике. Пиджины используются в местах проживания разных языковых сообществ для обеспечения коммуникации между их представителями. Пиджины не имеют грамматических правил и систематически используемых функциональных терминов (артиклей, вспомогательных глаголов, предлогов, способов согласования и т.д.). Известны случаи, когда пиджины превращались в настоящие языки, обладающие присущей всем естественным языкам систематичностью согласования и наличием функциональных терминов (креольские языки). Наиболее известный случай – появление гавайского языка [Bickerton, 1981; Jackendoff, 1994; Pinker, 1994]. В начале XX в. распространенный на Гавайях был превращен в гавайский креольский язык. Считается, что это сделали дети, которые родились на Гавайях и выросли в окружении использовавшегося там пиджина. Общаясь между собой, дети, будучи инстинктивно детерминированными на нормализацию того бедного и неупорядоченного языкового стимула, с которым они сталкивались, когда слышали использующийся вокруг них пиджин, создали на его основе полноценный язык, в котором было и согласование, и порядок слов, и функциональные термины. Правила употребления этого языка давали возможность систематически отличать грамматически корректные высказывания от грамматически некорректных.

Жестовые языки и креолизация жестовых пиджинов. Жестовые языки не являются последовательностями иконических знаков и пантомимы. Они – одна из разновидностей естественных языков, отличающихся от речевых языков только фонологическим компонентом (т.е. способом выражения тех синтаксических структур, которыми выражается их грамматика). Как и у речевых языков, фонологический компонент жестовых языков содержит ритмические свойства. Отличие лишь в определяющих свойствах фонологической структуры: в жестовых языках вместо звуковых свойств (для восприятия используется слуховой аппарат, а для выражения – голосовая моторика) используются визуальные свойства (жестикуляция и мимика) [Jackendoff, 1994, p. 98]. Освоение жестовых языков осуществляется также в детском возрасте и также зависит от критического периода.

В 1970-е гг. после революции в Никарагуа были впервые организованы школы для глухих, в которые свозились дети и подростки из окрестных деревень, жившие в окружении носителей звуковых языков и общавшиеся с ними единственно при помощи интуитивно понятных жестов и знаков и, соответственно, не обладавших каким-либо жестовым языком. В этой школе их учили искусственному языку. За короткое время пребывания в школе дети младшего возраста (около 4 лет) смогли развить эту знаковую систему, имевшуюся у их старших друзей, в полноценный

новый жестовый язык, который при этом содержал грамматические правила, уже известные по другим языкам [Pinker, 1994, pp. 36-37].

Приведенные здесь свидетельства и аргументы – лишь часть гораздо большего списка примеров и аргументов, приводимых сторонниками генеративизма в поддержку идеи о том, что естественный язык – врожденная способность людей. Ниже мы еще вернемся к этой проблематике. На данном же этапе пора обратиться к примерам того, как лингвистика или, точнее, активисты, вооруженные лингвистическим знанием, стремятся изобличить с помощью него существующие в обществе издержки и стереотипы, увеличивая тем самым общественное благо и способствуя прогрессу.

Языкознание и отдельные проблемы современных обществ

2.1. Обучение на иностранном языке

В современном глобализированном мире открытость и способность к конструктивной коммуникации являются залогом экономического успеха как отдельных людей, так и целых экономик. Основным средством такой коммуникации является язык, и владение общим языком для субъектов экономической деятельности упрощает и ускоряет их продуктивное взаимодействие. Данные простые истины, наряду с задачами экономического развития, нередко приводят к инициативам по распространению языковой компетенции и даже к целым государственным образовательным программам. Так, например, в Казахстане на протяжении последних лет внедрялась программа т.н. трехязычного обучения, которая рассматривалась, по словам бывшего президента Н. Назарбаева, как «один из залогов конкурентоспособности государства, экономики, нации» [Нурсеитова, 2017].

Однако методы, которыми могут осуществляться подобные проекты, бывают разными. Так, например, все в том же Казахстане потребность в педагогических кадрах, необходимых для реализации упомянутой госпрограммы, планируется удовлетворять через «подготовку действующих учителей-предметников для обучения их английскому языку и методике преподавания предмета на английском языке» [Там же]. Иными словами, образование на английском будет вестись казахским школьникам и студентам педагогами-соотечественниками, обучившимися вести курсы по своим предметам на английском языке. Есть ли у подобных проектов свои «подводные камни»? Может ли языкознание пролить свет на релевантные процессы, способные помочь выстраиванию правильных ожиданий от подобного рода инициатив?

По-видимому, получение более ясного видения вопроса возможно, если рассмотреть подобный опыт других стран не только в его

положительных примерах (на которые, надо полагать, ориентировались идеологи казахского трехязычного обучения, хотя было бы интересно посмотреть, в чем именно эти примеры заключаются), но и в отрицательных, которые тоже существуют и обсуждаются в литературе. Одним из таких примеров является Республика Гаити, случай которой часто упоминается в дискуссиях по языковой политике и образованию.

В Гаити, являющейся одной из самых бедных стран мира, остро стоит вопрос об образовательных программах, которые могли бы поспособствовать ее экономическому развитию. При этом Гаити имеет ряд особенностей, делающих ее случай интересным для обсуждаемого нами вопроса. Гаити является единственной страной в Америке, помимо Канады, где французский язык является государственным наряду с гаитянским креольским языком. При этом французским языком владеют около 10% населения Гаити [DeGraff, 2020], тогда как гаитянский креольский является (в том числе и официально) общим языком всех гаитян.

Являясь частью франкоязычного мира, Гаити поддерживает особые отношения с Францией, которая (помимо прочего) участвует в различных программах развития Гаити. В сфере образования это участие выражается в создании новых школ и в привлечении педагогов-французов для обучения гаитян с целью большей интеграции Гаити во франкофонный мир. Педагоги-французы преподают специальные предметы на французском языке. При этом попадание в такие школы считалось и считается крайне престижным и доступно не для всех желающих. В других школах, где преподают педагоги-гаитяне, французский язык также остается языком преподавания материала, используются учебники на французском языке.

Именно образованный и политический класс Гаити преимущественно составляет собой упомянутые выше 10% франкоговорящих гаитян. При этом подлинными носителями французского языка являются не более 3% населения. Для этих людей французский язык – родной: они общаются на нем дома, обсуждают футбол и видят на нем сны [DeGraff, 2020, p. 91]. Для остальной части населения Гаити французский язык – иностранный. Являясь носителями гаитянского креольского языка, эти люди оказываются в ситуации, когда получение образования в их собственной стране оказывается для них возможным лишь на иностранном языке.

Нередко считается, что гаитянский креольский язык является некоей производной версией французского языка, включающей в себя «видоизмененную французскую лексику XVIII века» и обладающей грамматикой, которая «существенно упрощена», хотя именно такое впечатление производит статья Википедии, посвященная этому языку [Гаитянский креольский язык, 2020]. Вопрос о происхождении гаитянского креольского является открытым. Также утверждается, что креольские языки происходят от пиджинов. Как указывает известный исследователь

гаитянского креольского языка и профессор лингвистики Массачусетского технологического университета М. ДеГрафф, эти гипотезы на протяжении долгих лет составляли основу мировоззрения, по которому креольские языки рассматривались как «ненастоящие» и не достойные того, чтобы использоваться в образовании и других серьезных предприятиях [DeGraff, 2019, p. xxiv].

Между тем, гаитянский креольский язык является отдельным самостоятельным языком. Его грамматика обладает всеми необходимыми характеристиками грамматик естественных языков: содержит строгие рекурсивные правила, согласование, функциональные термины и т.д. Точно так же, как и другие языки, гаитянский креольский осваивается детьми в раннем возрасте. Независимо от того, каково происхождение гаитянского креольского, этот язык сегодня является полноценным средством коммуникации и не содержит каких-то специфических характеристик, делающих его ущербным или менее предпочтительным, чем другие языки. Однако даже если бы это что-то и значило, сама гипотеза его происхождения от пиджина, как указывает ДеГрафф [DeGraff, 2020], не имеет никаких убедительных оснований, ибо ни один из упомянутых пиджинов никогда не был задокументирован, а его связь с гаитянским креольским никогда не была наглядно установлена. Наличие в гаитянском креольском заимствованных слов не делает его особенным, потому что большинство языков сегодня наполнены заимствованными словами, а еще потому что словарь какого-либо языка не считается частью его грамматики или, точнее, не относится к универсальной грамматике как к общей способности людей формировать и использовать естественный язык [Chomsky, 1986; Pinker, 1994].

Исследования лингвистов объективно подтверждают ту интуитивно понятную истину, что обучение на родном языке осуществляется намного эффективнее, чем на иностранном. В случае с Гаити эта демонстрация представлена наиболее наглядным образом. ДеГрафф обсуждает многочисленные примеры того, когда школьники не способны правильно понять задание или даже когда их учителя некорректно эти задания формулируют из-за того, что процесс обучения осуществляется на иностранном для них языке [DeGraff, 2020]. Ученики начальных школ, демонстрировавшие способности читать и пересказывать французские тексты, оказывались не способными обсуждать их содержание.

Одновременно с этим существуют и положительные примеры, когда обучение на креольском языке дает более эффективные результаты. В 1990-е гг. в рамках усилий по развитию образования на гаитянском креольском языке на острове Гонав (одном из островов Гаити) была образована специальная школа, где обучение происходило на креольском языке по специально разработанной программе. С точки зрения образования задачи, которые было призвано решать это учебное заведение,

были крайне примитивными – начальное и среднее образование на том единственным языке, которым владеет все население региона. Успехи этой школы не заставили себя долго ждать: уровень освоения базовых предметов и то качество образования, которое в результате получали ее ученики, за короткое время сделали спрос на эту школу существенно опережающим имеющееся предложение [DeGraff, 2020].

Между тем, как отмечает ДеГрафф, стереотипы относительно предпочтительности образования на французском сохраняются не только в Гаити в целом, но даже и среди учеников описанной школы и их родителей. Во-первых, это связано с распространенными предрассудками, согласно которым обучение на французском сближает гаитян с экономически развитым франкофонным миром. Во-вторых, это, как следствие, связано и с самим устройством общества Гаити, где владение французским является признаком принадлежности к привилегированному классу. В задачи лингвистов, пропагандирующих образование на гаитянском креольском, таким образом, входят преодоление существующего в обществе предубеждения против собственного языка и разоблачение распространенных заблуждений.

Одним из таких заблуждений является позиция, согласно которой образование на гаитянском креольском создает дополнительные препятствия для интеграции во франкофонный мир. Это, как указывает ДеГрафф, совершенно неверное представление. Обучение на креольском, а не на французском не исключает обучения французскому. Обучение французскому языку как иностранному возможно и, видимо, даже предпочтительно, однако не ценой преподавания предметов основного образовательного курса на французском, поскольку подобное преподавание не является способом погружения в языковую среду, которое является распространенным способом обучения языку. Преподавание предметов школьного курса на французском языке учителями-носителями гаитянского креольского ученикам, которые тоже являются носителями гаитянского креольского, не является способом погружения в языковую среду или чем-то приближающимся к подобному погружению. Единственное, к чему приводят подобные практики – это создание значительных и нередко непреодолимых препятствий в рамках образовательного процесса.

Устройство гаитянского общества, в котором владение французским языком в значительной степени сопутствует обладанию более высоким социальным статусом, является тем фактором, который выводит проблему оппозиции обучения языку и обучения на языке за пределы сугубо лингвистической или педагогической сфер. ДеГрафф обсуждает высказывания Ф. Олланда и Э. Макрона о необходимости распространения на Гаити школ с обучением на французском языке и по французским программам. Тем самым, по мнению ДеГраффа, упомянутые политики

демонстрируют свою приверженность описанным выше заблуждениям и их незнание научной сути данной проблемы. ДеГрафф говорит о, казалось бы, простых истинах, по согласию которым, например, обучение гаитян по французским учебникам истории галлов, но не истории их собственных предков, выглядит, мягко говоря, необоснованным. Но, помимо них, он обсуждает и такие более абстрактные материи, как языковая и культурная колонизация [DeGraff, 2020].

Несмотря на то, что Республика Гаити стала независимым государством, перестав быть французской колонией, более двухсот лет назад, ее культурная колонизация Францией продолжается до сих пор, выражаясь не только в упомянутом выше отношении президентов Франции к развитию Гаити, но и, собственно, в том, как гаитяне видят самих себя. Пренебрежительное отношение к собственному языку и национальной идентичности, распространенное среди политических элит, является главной проблемой на пути образовательных (и, как следствие, иных экономических) преобразований на Гаити. Лишая гаитянских детей возможности получать образование на родном языке и тем самым в значительной степени лишая гаитян из поколения в поколение возможности получать образование в принципе, поведение правящего класса закрепляет социальное неравенство в гаитянском обществе.

Более того, ДеГрафф показывает, что проблема уходит даже еще глубже, чем просто социальное неравенство на Гаити вследствие стереотипности мышления гаитянских элит и их колонизированного мировоззрения. Данные, полученные из ВикиЛикс, говорят о намеренных действиях по поддержанию на Гаити существующего положения дел и связанного с ним неравенства со стороны влиятельных международных игроков, в частности, Госдепа США [DeGraff, 2019]. Ссылаясь на опубликованные записи переговоров, он приводит примеры открытого обсуждения введения цензуры против театров и радиостанций, работающих на гаитянском креольском языке, с тем чтобы предупредить возможность утечки через эти источники информации о провалах и различных нарушениях в работе правительства, способные сделать народные массы «менее политически предсказуемыми». Эти и другие факты дают ДеГраффу основания говорить не просто о языковой и культурной колонизации Гаити, но уже и о режиме некоего языкового и образовательного апартеида [DeGraff, 2019].

Таким образом, развитие на Гаити образовательных программ, реализуемых на гаитянском креольском языке, разработка соответствующих учебников и учебных планов при содействии Академии гаитянского креольского языка (одним из основателей которой является сам М. ДеГрафф) и ряда американских фондов становятся лишь базовой отправной точкой научного знания, необходимого для преодоления языковых и образовательных стереотипов и их пагубных последствий. Данная научно-

образовательная деятельность должна с неизбежностью дополняться и политическим и общественным активизмом, способствующим изменению перспективы восприятия обществом данной проблемы. Трансформация отношения правящих элит и всех остальных членов общества с опорой на (популяризированное) научное знание становится не менее важным залогом успеха, чем сам факт сложившейся ситуации с объективной научной точки зрения.

Ученый-лингвист как обладатель знания, полученного в результате научного исследования, становится одновременно обладателем и той объективной точки, опора на которую позволяет трансформировать все общество целиком²⁶. В руках ученого, становящегося политическим и общественным активистом (или просто экспертом, привлекаемым к решению тех или иных задач за рамками непосредственной проблематики его научной дисциплины), оказывается возможность обеспечить влияние науки на общество вне ее непосредственной сферы применения.

Возвращаясь теперь к тому, с чего мы начали данное обсуждение, а именно – к вопросам развития общества с опорой на его языковое образование, следует сказать, что научный подход к объекту исследования и преобразования, а также к тому инструментарию, с помощью которого это преобразование может реализовываться, может оказаться отличным или даже полностью противопоставленным тем изначальным представлениям и ожиданиям, которыми обладают субъекты принятия экономических и политических решений. Несет ли в таком случае наука пользу обществу? По-видимому, да. Однако всегда ли готово общество отказаться от собственных стереотипов и иных заблуждений, изобличаемых наукой, и чем на самом деле определяется выбор в пользу тех или иных решений в сфере реформирования? Ответ на этот вопрос лежит вне непосредственной сферы, изучаемой лингвистикой.

2.2. Значимость освоения первого языка: случаи обучения глухих детей

Как уже указывалось выше, жестовые языки глухих – это тоже естественные языки. Подобно речевым языкам, жестовые языки осваиваются в детском возрасте, и этот процесс также связан с т.н. критическим периодом. Корректное когнитивное развитие ребенка может осуществляться как при использовании им в качестве первого языка звукового языка, так и при использовании им жестового. Однако если в течение критического периода не происходит освоения языка ребенком, то это существенно ограничивает его возможности для дальнейшего

²⁶ Ср. с процессами, описанными Б. Латуром в его известной статье «Дайте мне лабораторию, и я переверну мир» [Латур, 2002].

когнитивного развития, делая его случай подобным описанным выше случаям Джини или глухих детей, использовавших только пантомиму при общении со своим слышащим окружением, т.к., подобно тому, как упущенное время для импринтинга не может быть восстановлено, так и упущенное время для освоения языка не может быть компенсировано. Время, когда мозг пребывает в состоянии «пластичности» для освоения языка, оказывается упущенным.

Сегодня в США существует группа лингвистов, представители которой опубликовали в ведущем научном журнале по языкознанию «Language» статью по проблеме обучения глухих детей, которая адресно ориентирована на конкретную социальную проблему и имеет говорящее название: «Обеспечение глухих детей возможностью освоить язык: что могут сделать лингвисты» [Humphries et al., 2014]. Проблема эта связана с тем, что распространение кохлеарных имплантатов резко увеличило число людей, которые хотят обрести слух, но одновременно создало повсеместное стремление родителей глухих детей не обучать их жестовому языку, а, используя кохлеарный имплантат, направить все силы на то, чтобы их дети освоили речевой язык как единственный родной.

Позиция родителей вполне понятна – они хотят как можно скорее обеспечить своему глухому ребенку возможность освоить звуковой язык и стать частью гораздо более многочисленной общины носителей английского, чем общины носителей американского жестового языка. Однако эта позиция создает для глухих детей и очень серьезные угрозы, о которых их родители зачастую не подозревают. Угрозы связаны с тем, что, не освоив жестовый язык в качестве первого языка, на который глухие дети смогут «опереться», изучая звуковой язык (имея возможность стать его носителями-билингвами), они рискуют упустить критический период. Обучить глухого ребенка жестовому языку не представляет технической проблемы, тогда как контроль над оптимальностью звукового стимула, воспринимаемого ребенком через кохлеарный имплантат, до сих пор остается довольно значимой технической проблемой. В случае сбоя в таком обучении (о чем зачастую можно узнать довольно поздно) возникает угроза – освоит ли ребенок какой-либо язык в принципе.

Как указывают авторы статьи, поскольку в подавляющем числе случаев глухие дети рождаются в семьях, где родители не имеют серьезных проблем со слухом, имеет место родительское предубеждение против жестовых языков. Это предубеждение можно преодолеть, только распространяя лингвистическое знание относительно равенства жестовых и звуковых языков, важности освоения ребенком первого языка и значимости критического периода в процессе обретения языковой компетенции. К тому же обучение глухих детей сначала жестовому, а потом звуковому языку имеет еще и прямые когнитивные преимущества, связанные с билингвизмом, не говоря уже о том, что мир носителей

жестовых языков – это пространство уникальной культуры людей, полноценный доступ к которой заказан для большинства взрослых носителей звуковых языков.

Данный пример является еще одной иллюстрацией того, как усилия лингвистов способствуют общественному прогрессу через изобличение общественных стереотипов, способных нанести прямой вред конкретным людям, поломать судьбы и т.д.²⁷

Врожденность языковой способности: дискуссии в современном языкознании

Многие критики концепции Н. Хомского критикуя сегодня его концепцию генеративной грамматики, хотя и разделяют общую установку на то, что язык – это самостоятельная система, изучение которой не может осуществляться прескриптивными методами. Некоторые современные исследования в области когнитивных наук дают основания предположить, что способность Homo sapiens использовать язык со всеми его специфическими характеристиками происходит из большого количества факторов, лишь часть из которых относится к врожденным способностям, которые при этом могут встречаться не только у людей, но и у животных. Другая же часть этих способностей относится к взрослению детей в языковом окружении в рамках коммуникации с другими людьми и поэтому является обретенной [Cowiek, 2017]. Одна из выстраиваемых сегодня альтернатив теории врожденности языковых компетенций относится к сфере нейрофизиологии и экспериментальной психологии (см. напр.: [Tomasello, 2003]).

М. Томаселло – автор одной из наиболее влиятельных работ, представляющей иной подход к объяснению процесса освоения ребенком языка. Он открыто отрицает подход генеративистов, которые, как мы видели выше, исходят из теории врожденности и инстинктивности языковых компетенций и из того, что ребенок осваивает язык, активизируя в критический период заложенную в нем универсальную грамматику. Согласно же подходу Томаселло, естественные языки (их грамматики) не являются конечным набором строгих правил, используемых для систематического манипулирования морфемами (имеющими соответствующую синтаксическую функцию), а представляют собой структурированные наборы конструкций, сформированные в рамках исторического процесса грамматикализации. Освоение языка происходит с помощью широкого спектра навыков или способностей, связанных со считыванием интенции (собеседника) или отысканием тех или иных паттернов. Одна важная характеристика данного подхода заключается

²⁷ Более подробно об этом случае, а также других случаях (в частности, о существующем в США предвзятом отношении к афроамериканскому английскому языку) см.: [Вострикова, 2021].

в том, что освоение языка детьми представляется как сложный процесс, в котором задействуются различные когнитивные механизмы, а не просто врожденные знания, присущие исключительно людям.

Данный подход позволяет Томаселло отрицать то, что он называет гипотезой длительности (*continuity hypothesis*), на которую, по его мнению, опираются генеративисты, объясняя процесс освоения детьми языка в терминах постепенного возникновения у них грамматики того языка, который используют взрослые. Иными словами, для Томаселло подход генеративистов – это изначальная попытка «подогнать» процесс освоения ребенком языка под их собственные заранее данные объяснения того, как функционирует грамматика языка взрослых носителей. Пропагандируемый им, более эмпирически ориентированный подход позволяет поставить в центр исследовательского внимания вопросы о том, как имеющиеся у детей грамматические репрезентации трансформируются с течением времени (т.е. в чем разница между использованиями детьми одной и той же конструкции на разных этапах их развития), как ограничение на (языковые) знания, которыми могут обладать дети, соотносится с их когнитивными ограничениями, каково влияние грамматического устройства языка на то знание, коим может обладать ребенок, осваивающий его. В рамках своего подхода Томаселло объясняет, например, способность детей идентифицировать такие грамматические категории, как имена существительные или глаголы, через те способы, по которым они сочетаются с другими элементами высказывания при тех или иных коммуникативных целях. Имена, например, сочетаются с детерминаторами, а глаголы – с маркерами времени и вида. Такое объяснение идентификации грамматических категорий через их специфическую функцию в рамках коммуникативных действий говорящего дает более эмпирически ориентированную экспликацию их освоения.

В целом подход Томаселло сочетает семантико-прагматические аспекты речевого поведения людей для экспликации их освоения грамматики, что фундаментальным образом расходится с базовыми отправными постулатами генеративизма, согласно которым синтаксис является независимой системой и идентификация языкового выражения как грамматически корректной конструкции осуществляется носителями языка безотносительно того, осмыслена эта конструкция или нет [Chomsky, 1957].

Не вдаваясь здесь более детально в концепцию Томаселло, обозначим некоторые другие аспекты того общего подхода к освоению языка, который он олицетворяет, в сравнении с базовыми постулатами генеративной лингвистики. Конкретно, рассмотрим здесь некоторые существующие возражения аргументам в поддержку генеративизма.

Так, часто указывается, что аргумент от бедности стимула, с помощью которого, как было рассмотрено выше, Хомский критиковал бихевиоризм

и обосновывал собственный подход, на самом деле дает лишь основания против бихевиоризма, но сам по себе еще не говорит о том, что концепция универсальной грамматики является его корректной альтернативой. Более того, в языковом опыте ребенка может быть достаточно отрицательных свидетельств для формирования корректной грамматической гипотезы, особенно если не относить к негативным свидетельствам прямые перечисления грамматических конструкций с маркировкой «некорректно», а рассматривать их в более широком коммуникативном контексте. Ф. Кауи [Cowie, 2017] пишет, что в том случае, если ребенок сформулировал некорректную гипотезу относительно допустимых в осваиваемом им языке грамматических конструкций, убедиться в ее некорректности он может, попытавшись ее использовать, но не достигнув при этом понимания со стороны собеседника.

Такой взгляд на проблему становится еще более обоснованным, если допустить, что дети, генерируя последовательности слов, рассматривают их без отрыва от той синтаксической структуры, которую слова для них представляют. Отсутствие в опыте определенных последовательностей слов будет для них косвенным свидетельством отсутствия в языке определенных грамматических конструкций. Это несложно смоделировать, приняв ряд вполне прозрачных отправных допущений. Кроме этого, в ряде исследований было установлено, что родители исправляют не менее 20% некорректных высказываний детей (что немало). Было также показано, что дети уже в возрасте 8 месяцев используют статистические закономерности для идентификации границ слов и других важных для освоения языка компонентов [Cowie, 2017].

Сходным образом подвергаются критике и другие аргументы. Так, часто указывается, что случаи одичавших детей, пропустивших критический возраст для освоения языка, наполнены дополнительными факторами, указывающими на возможность иных объяснений их неспособности к языку. То же самое происходит и с аргументами о креолизации пиджинов. В частности, известный случай никарагуанского жестового языка, используемый генеративистами в качестве эмпирического основания для их гипотезы, критикуется за то, что тот язык, который в результате возник в среде детей, не был так уж независим от предшествующего ему пиджина и, более того, вырабатывался через прохождение ряда стадий [Cowie, 2017].

Наконец, сам феномен утраты возможности обрести в должной мере языковые навыки после определенного периода времени распространяется не только на собственно языковые, но и на иные навыки (в частности, на восприятие музыки или распознавание выражений лица), и проявляются эти закономерности не только у людей, но и у животных [Cowie, 2017, pp. 61-62]. И хотя это само по себе не означает, что язык не врожден, такие аргументы, тем не менее, помогают сторонникам альтернативных

подходов к освоению языка выстраивать картину, при которой это освоение предполагает использование целого спектра различных навыков, которые присутствуют не только у людей, но и у животных. К тому же аргументы о пластичности мозга и связанные с ними наблюдения того, что у людей, переживших травмы, языковые способности могут начать реализовываться за счет функционирования других отделов головного мозга, наводят оппонентов генеративизма на мысль о том, что языковая функция не локализована в той или иной области мозга, как это предполагают генеративисты.

Разумеется, не всех убеждают и те аргументы, которые приводят критики генеративизма. Как указывают сторонники Хомского, отказ от рассмотрения языка как проявления конкретной человеческой способности и представление ее в качестве феномена, возникающего в результате взаимодействия целого конгломерата различных функций и когнитивных способностей, присущих людям и животным, грозят тем, что не будет оснований рассматривать язык как некий единый феномен [Friederici, 2017; Volhuis et al., 2014]. Сторонники Хомского представляют картину развития языка, исходящую из базовых постулатов генеративизма и либо дающую удовлетворительные ответы на существующие возражения, либо отрицающую их значимость для сути вопроса.

Таким образом, даже внутри самого языкознания как на уровне развития отдельного направления, так и на уровне дисциплины в целом, постоянно осуществляется попытка избавиться от имеющихся стереотипов относительно природы языка, заменяя менее убедительные теории более убедительными и эмпирически фундированными. Продвижение это всегда связано с дискуссиями и отказом от раз и навсегда зафиксированных истин.

Заключение

В данной главе было рассмотрено то, как научный подход к исследованию языка способствует развитию как самой дисциплины языкознания, так и общества в целом. Было показано, как не обоснованные эмпирически и опирающиеся на предвзятость стереотипы способны оказывать влияние на общественную жизнь не только на уровне межличностного общения через необоснованное негативное маркирование по языковому признаку отдельных групп людей, но и на уровне целых государственных программ по развитию. Была дана экспозиция более научного подхода к природе естественного языка на примере генеративной лингвистики и показано, как именно даже эта картина оказывается под огнем научной критики, которая порождает новые дискуссии и способствует более продуктивному развитию языкознания.

Раздел 4.

Гуманистическое измерение технонауки

Глава 8

Будущее технологической рациональности: критическая теория технологии Э. Финберга и феминистская методология науки

А.О. Костина

Представление о нейтральности технологий может быть эпистемологически небезопасно. Данное видение связывается с технологиями, с одной стороны, как с продуктом научной рациональности, с другой – как с результатом политизации технологической рациональности. В рамках критической теории технологии Э. Финберга рассматриваются механизмы доминирования технологической рациональности. Главное утверждение связывается с политизированностью технологий, всегда встроенных в определенный культурный и социальный контекст. Политический выбор формы технологии обусловлен необходимостью консервации существующих иерархий. Технологическая революция – это одновременно и масштабная трансформация существующего социального порядка, и способ демократизации рациональности. Ее основой становится справедливое соревнование между альтернативными вариантами технологического дизайна, реализующими многообразие социальных логик. Данный процесс становится основанием для изменения технического кода, лежащего в основе доминирующей модели технологической рациональности. Ее демократизация становится единственным ответом на негативные последствия первичной инструментализации, лишившей объекты всей полноты свойств, кроме функционально значимых для реконструированной в рамках главенствующей модели системы контроля. Представление о необходимости трансформировать технологическую политику резонирует с современными задачами технологического дизайна, проанализированными в рамках HCI (Human-computer interaction). Их основой становится переопределение технологических задач с использованием феминистской методологии науки, рассматривающей знание как контекстуальное, зависимое от места, точки зрения и ситуации.

Ключевые слова: технологическая политика, Э. Финберг, С. Хардинг, технический код, критика технологической рациональности, феминистская эпистемология, инструментализация, реификация, деконтекстуализация.

Введение

Связь фундаментальной науки и обыденной жизни зачастую происходит через ежедневные практики использования технологических достижений. Иначе их можно обозначить как участие в работе технологически опосредованных социальных институтов. Использование технологий является живым источником критики, «как если бы дискурсивная рамка научной рациональности вышла за пределы исследований, став культурным принципом и основой социальной организации» [Feenberg, 2002, p. 173]. Технологии непрерывно

переопределяют порядок коммуникации между людьми, институтами и устройствами, опосредующими взаимодействие и солирующими в качестве самостоятельных социальных акторов.

Дискуссии вокруг искусственного интеллекта, особенно имеющие гуманитарный характер, зачастую строятся не столько вокруг оценки увеличивающихся технических возможностей, сколько вокруг проблемы реализованной или ограниченной ими свободы человека. Точнее, монополистического права людей на ту свободу, которую, согласно худшим сюжетам антиутопий, поглощает AI. Однако таким образом поставленный вопрос скрывает факт неравенства, а значит, и разной степени реализации свободы в мире отдельного человека и общества в целом. Технологии инструментальны, но природа этой инструментальности становится предметом многочисленных споров. В частности, в исследованиях STS (Science and technology studies), философии науки и техники, этике и сопряженных областях. С одной стороны, позиционируемая нейтральность технологий, как и объективность науки, должна свидетельствовать о существующем порядке, строгом этосе и этичности соответствующих областей разработки. С другой – за определением нейтральности скрывается множество сложных структурных технологических и социальных процессов, заставляющих рассматривать потенциальную ангажированность технологий. «В качестве обычных физических объектов, абстрагированных от всех отношений, артефакты не обладают никакими функциями, а значит, и соответствующим технологическим характером» [Feenberg, 1999, p. 213]. Следовательно, технологии, всегда функционирующие в определенном контексте, имеют глубоко установленную с ним связь. Проблематичным при этом может стать достижение их синхронизации.

Поле технологических разработок и поле их регулирования функционируют на принципиально разных скоростях. В социальных практиках и все новых создаваемых прецедентах мы видим, как правовой контроль новых внедряемых технологий производится куда более низкими темпами, нежели совершаются и становятся привычной практикой использование последних технологических достижений. Общества, идентифицирующие себя через уровень технологического развития, вовлекают в самоидентификацию огромный пласт областей, где данные технологии применяются. С этой точки зрения невозможно говорить о технологии и при этом игнорировать вопрос о ее вовлеченности в политический дискурс. Возникает вопрос глубокого анализа и возможной трансформации существующей технологической политики.

Объединение двух высказанных выше тезисов о технологическом развитии, опережающем собственное правовое регулирование, и о технологии как инструменте установления иерархического политического порядка заставляет внимательнее рассмотреть механизмы

реализации технологической политики, связи и общественной реализации субъектов по поводу или с использованием технологий.

Критика технологической рациональности и технический код Э. Финберга

Э. Финберг является автором одной из наиболее фундаментально разработанных теорий STS – критической теории технологии. Исходя из ряда фундаментально значимых идей социальной мысли, в частности – теории формальной рациональности М. Вебера, технологической рациональности Г. Маркузе, теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса, он исследует политику технологической трансформации в обществе.

Вопрос человеческой свободы в данном контексте связан с дифференциацией технологической и социальной сфер жизни. Классическое представление, поддерживаемое М. Вебером, указывает, что такое размежевание стало результатом технологической модернизации. Однако Э. Финберг иначе смотрит на данное разделение, воспринимая его скорее как эфемерное, нежели реальное. Любые технологические преобразования, по его мнению, укоренены в социальном контексте: «На сложном уровне культурной герменевтики технологии могут быть многовариантно встроены в реальность, “та же” технология в другом культурном контексте становится “другой” технологией» [Feenberg, 1999, p. 218].

Э. Финберг, фундаментально исследуя вопросы философии науки и техники в ряде своих работ [Feenberg, 1997; Feenberg, 1999; Feenberg, 2002; Feenberg, 2017], не только поднимает вопросы анализа роли технологии в социальной жизни, но и занимается поиском способов ее демократизации и рационализации. Следствием должно стать расширение возможности личной реализации, установление свободы выбора и полноценной коммуникации людей друг с другом и окружающим миром.

Одно из ключевых понятий, используемое Э. Финбергом для анализа политических и идеологических отношений, связанных с установлением определенного технологического режима – гегемония технологической рациональности. В обществах, идентифицирующих себя через технологическое развитие, технология становится эталонным, если не единственным, воплощением рациональности. Рациональность устройства общества и его институтов гарантируют стабильность и континуальность существующего режима. Рациональность, если ее определять в политических категориях, консервативна и устойчива, она не может быть истоком революции, а зачастую и, наоборот, превращается в инструмент ее завершения.

Таким образом, обозначается противоречие между «революционными технологиями» и «технологической рациональностью». Прорывы, совершаемые в исследованиях, связанных с технологиями, не могут быть в подлинном смысле революционными – это осознанный (или нет) перенос политического понятийного аппарата на мир науки. Следует вопрос, можно ли в принципе определить мир науки и технологий (как продукта научных достижений, внедряемого в ежедневные практики) как аполитичный?

Представление о «нейтральности» технологии тесно связано с тем общественным контекстом, в котором оно существует. Сама по себе реализация технологии, заключающаяся в последовательном воплощении алгоритма, технических правил или технического кода, не может соотноситься с представлениями о нейтральности ровно потому, почему не может быть отделена от социального контекста, в котором была разработана или использована. Несмотря на то, что влияние технологий зачастую масштабно и глобально, «политика технологии» начинается с малого, с момента ее создания и выбора ее формы. Именно поэтому важнейшим вопросом в рамках критической теории технологии становится проблема технологического дизайна. Если представить себе ситуацию, в которой для решения той или иной технической и социальной задачи было разработано несколько равных по эффективности вариантов технологического дизайна, то возникает вопрос, что становится основанием для предпочтения одной опции другой?

Социальное основание того или иного общества, лежащее в воплощении определенного технологического дизайна, является техническим кодом. Он связан с доминирующей формой рациональности, находящейся на пересечении идеологии и техники, «призван уменьшить значимость ценностей и интересов посредством правил и процедур, устройств и артефактов...» [Feenberg, 2002, p. 15]. Он имеет социальную природу, является способом сохранения автономии и «правилом участия», как его называет в своем исследовании Г. Киркпатрик [Kirkpatrick, 2017, p. 121]. Технический код – это ключевой элемент, при помощи которого сохраняется или изменяется существующая иерархическая модель. Автономия в данном контексте является способом поддержания независимости структуры, осуществляющей контроль. Существующий технический код отражает характер доминирующей структуры и характер социальных отношений.

Область технологического дизайна становится полем реализации технологической политики. Качество и высота ее уровня для Э. Финберга определяются возможностью «соревнования» различных социальных логик и доминирующей модели технической рациональности. Ссылаясь на Э. Лаклау и Ш. Муфф, Э. Финберг транслирует представления об артикуляции, связанной с формированием политического дискурса,

транслируемой на технологию и технический код. Артикуляция – это, в первую очередь, способ идентификации. Так, посредством технического кода, реализуемого в технологическом дизайне, артефакты обретают свой онтологический статус. Именно технологический дизайн становится областью, где могут быть актуализированы альтернативные артикуляции интересов разных социальных групп. Дизайн здесь превращается в способ реализации различных социальных логик, воплощенных в технологии. Если соревнование не происходит, то находящиеся при гегемонии технологической рациональности технологические решения рассматриваются как конфликт эффективности и смысловой наполненности. При этом «процесс формирования технологии включает минимизирование ее семантического содержания, где подразумеваемое под ней рассматривается как воплощение эффективности, лишенное смысловой наполненности» [Kirkpatrick, 2017, p. 126].

Э. Финберг осуществляет не только анализ принципов технологической политики, реализуемых в капиталистических обществах. В поисках способов демократизировать рациональность он уходит дальше своих предшественников. Его учитель Г. Маркузе не находил способ преодоления угнетающей технологической рациональности внутри сложившейся системы. Возглавлять трансформацию должны условные «аутсайдеры» и маргиналы. В случае критической теории подход не связан с привлечением внешних решений и с революционной, насильственной трансформацией. Для Э. Финберга в системе допускается определенный уровень контингентности, не связанный с влиянием внешних факторов. Они, помимо прочего, не обладают достаточной объяснительной силой в рамках представленной теории. Для критической теории технологии в принципе характерно осторожное отношение к категориям «внешнего» и «внутреннего». Здесь показательным моментом становится пояснение позиции, доминирующей в рамках капитализма власти. Э. Финберг определяет ее как «квазиэкстернальную». В соответствии с его теоретической позицией осуществляемый контроль возможен только при нахождении контролирующей силы внутри системы. Эффект отстраненности, когда власть над объектами осуществляется как бы «извне», достигается за счет успешной реализации операционной автономии. Но она является результатом внутренних динамических процессов.

Справедливый технологический мир должен стать миром прямого и честного соревнования по созданию альтернативных способов реализации технологии. Акцент лишь на эффективность реализации технологических проектов не является приоритетным. Технологические стратегии должны быть реализуемы в разнообразных социальных логиках и отражать интересы различных социальных групп. Коммуникация в рамках социальных групп становится ключом к демократизации

рациональности, а значит, и к изменению доминирующего технического кода. Это и является одним из пунктов демократизации технической политики, предлагаемых Э. Финбергом, который также можно связать с установлением более справедливых возможностей.

В контексте всеобщей цифровизации уже есть успешно реализуемый проект открытого кода, где в разработке программного обеспечения могут беспрепятственно участвовать разные разработчики. Таким образом трансформируется как технический код, так и правило участия, перераспределяется контроль системы. Можно ли при этом говорить об уже свершившейся социальной и технологической трансформации? Для того чтобы попытаться ответить на данный вопрос, следует расширить используемый теоретический контекст.

Одним из основных моментов критики существующих капиталистических систем становится рассмотрение объектов исключительно в качестве функциональных – результат первичной инструментализации (также ассоциирующейся с веберовской формальной рациональностью). Результатом последней является реифицированный объект с качествами, инструментально значимыми в рамках существующей системы. По мнению Э. Финберга, именно данный тип инструментализации приводит к появлению технологий, поддерживающих воспроизводство существующих структур и заданного порядка. С первого взгляда открытый код, как и значительное число открытых моделей, недостижим для экспертократического контроля, не иерархичен, а значит, не контролируется сверху. Однако системы с открытым кодом с легкостью вводятся в оборот существующих консервативных иерархий. Ярким примером становится использование распределенных технологий и алгоритмов государственными институтами. Почему так происходит? Во-первых, необходимо помнить, что технический код – это форма социальных отношений, которая не может изменяться с помощью исключительно технологических решений. Более того, вся сумма вкладов, вносимых участниками в процессе написания кода, приводит в коммуникативный тупик, когда связи внутри системы невозможно проанализировать. При этом скорость интеграции технологий стремительно увеличивается, а время, требуемое для анализа и принятия правовых решений, связанных с монополизацией различных областей и отраслей, применяющих «нейтральные» для обретения власти – нет. Это становится еще одним примером действия институциональной власти, эффективно адаптирующей созданную систему технологической политики.

Понятие «границы техники» (англ. «boundary of technique»), используемое в рамках критической теории, становится и границей, определяющей человека и его возможности социальной реализации. Приоритет в определении границы техники становится инструментом доминирующей власти, которая определяет и переопределяет

представления о том, что является технологией. Она также устанавливает статус, которым наделяются те или иные технологические процессы, правила и артефакты. В критической теории постоянно подчеркивается противопоставление нейтральность – контекстуальность, публичный словарь при этом связан с нейтральностью технологии, а она в свою очередь – с непредвзятостью подходов. Это является ярким примером политической стратегии, нацеленной на то, чтобы «увернуться от пули» в случае увеличивающегося недоверия к официальной власти, связано ли оно с отдельными скандалами в политической жизни или с кризисными периодами в целом.

Сам Э. Финберг, ссылаясь на Г. Маркузе, расширяет контекст и выходит на уровень рассуждений не только о технологиях, но и о порождающей их науке, утверждает ложность ее «претензий» на нейтральность. В поддержку своей позиции он заявляет, что только политизируя науку невозможно распознать подавляемые и угнетаемые части внешней и внутренней природы. В этом смысле экономика и политика природы, отношение к ней как к источнику ресурсов, оказываются тесно переплетенными с технологическими инструментами, реализующими извлечение ресурсов.

Пересечение геополитических интересов и технологических достижений в рамках международных взаимодействий приводит к изменению системы оценки роли технологии в границах национальных государств. Международные политические кризисы часто идут рука об руку с оценкой технологического потенциала стран, а вероятность их преодоления связывается с практикой не только и не столько переговоров, сколько устрашения военно-техническим и технологическим доминированием. При этом предел восприятия технологической нормы в такие моменты становится максимальным: ядерные технологии, которые потенциально могут быть использованы не только в мирных целях, обозначают норму, на принятие которой вполне могут не соглашаться отдельные люди, группы, а также целые страны. Особенно если риски связаны с угрозой существованию. Глобальное влияние трансформируется в локальные практики с массовым вовлечением людей. При этом и кризисы мирной жизни также могут быть сопряжены с необходимостью использования технологий. Доминирующий технический код вполне может быть сопряжен с установлением систем социального неравенства, ограничениями на коммуникацию в тех случаях, когда увеличение доступа к техническим возможностям представляет угрозу накапливаемому в рамках системы ресурсу. При этом отсутствие доступа к технологиям уже не может восприниматься нейтрально, но как некий политический выбор, который был сделан за лишенных возможностей участников процесса. Поэтому все чаще речь идет о дискриминации (в частности, цифровой), реализуемой в ежедневных практиках, в том числе связанных с гражданскими инициативами.

Увеличился ли масштаб реализации человеческого потенциала с момента всеобщей цифровизации социальных процессов? На первый взгляд, участие в технологическом дизайне стало намного более доступным. Также следует заметить, что на уровне создания программного обеспечения реализуется значительное количество альтернативных социальных логик и соответствующих им интересов. Однако можно ли всерьез говорить о демократизации технологической политики, реализованной в соответствии с представлениями Э. Финберга?

Д. Дин высказала «гипотезу коммуникативного капитализма» [Dean, 2009], согласно которой представление о возможности решить проблемы гегемонии технологической рациональности через участие является лишь иллюзией. Следует отметить, что речь идет о вовлеченности скорее в жизнь социальных сетей, нежели в дизайн устройств. Однако это дополняет картину, в которой мы видим не только профессиональные области и реализуемую через них технологическую политику, но и гражданскую сферу, которая в той или иной мере демонстрирует сторону активных пользователей технологических продуктов. Деятельность крупных цифровых платформ ориентирована не на оказание услуг, как может показаться с первого взгляда на различные сервисные службы, а на производство и «добычу» данных. Растущий объем данных в системе становится главным источником возрастающего капитала компаний. Именно поэтому их деятельность должна расширяться и масштабироваться. Следует развести количественную оценку, выражающуюся в объеме циркулирующих данных, и качественную, зависящую от поля обсуждения (следует сделать оговорку, что Д. Дин затрагивает аспекты гражданско-политического характера, рассматривая их в рамках постмарксизма). Одна из ее основных мыслей связана с тем, что большой объем данных не только поддерживает жизнеспособность и уровень капитализации платформ, но и фрагментирует политическую дискуссию. При этом фокус внимания смещается в сторону «пустых» политических проектов. Они служат «клапаном», через который выражается гражданское политическое несогласие. Это лишает пользователей реальной политической власти, компенсируя это иллюзией вовлеченности.

Именно скорость циркуляции и объем данных становятся приоритетом цифровой коммуникации – это является основанием новой модели цифровой экономики. Наделение символическим смыслом сообщений при этом перестает играть значительную роль. Данный процесс становится формой экономического производства, а сама коммуникация лишается символической ценности. Схожим образом Э. Финберг рассуждает об артефактах, утверждая, что существует устойчивая тенденция по присвоению их функционированию исключительно технического смысла.

Технические средства и сети отражают существующую систему их производства. Э. Финберг, анализируя характер их контроля, делает акцент на высокой значимости операционной автономии. Ее роль важна не только в производственном цикле. В менеджменте она распространяется далеко за пределы предприятий, проникая на все уровни общественной жизни. Операционная автономия становится инструментом капитализма в определении границ осуществляемого управления и реализуется через техническую организацию. Э. Финберг также связывает идею операционной автономии с централизованным контролем, утверждая, что главными проблемами в нем становятся «барьеры на пути к доверию и надежной коммуникации» [Feenberg, 2017, p. 288], а также «разрыв между когнитивными способностями индивида и сложными проблемами технологического общества» [Feenberg, 2002, p. 134]. Алгоритмы, используемые для работы платформ, также зачастую характеризуются в категориях операционной автономии, особенно в рамках активной адаптации машинного обучения. Когнитивные разрывы, проблемы коммуникации и доверия – это вопросы, сопряженные с человеком как участником процессов, вышедших из-под контроля. С каждым новым витком технологического совершенствования вновь встает вопрос о самоидентификации человека в процессе взаимодействия с технологиями и идентификации себя в отношениях с другими людьми как участниками коммуникации, опосредованной цифровыми технологиями. Данные переходы заставляют переопределять свою роль в отношении инструментов контроля и развития. Это – масштабные процессы, где «цивилизационные изменения эффективно переопределяют, что значит быть человеком, что имеет последствия как для этического, так и экономического развития» [Feenberg, 2002, p. 146]. Для Э. Финберга переопределение человека связано с подвижностью или лабильностью современной экономической культуры, где большую роль играют разнообразные социальные движения, представляющие модели, связывающие идеалы и интересы, которые превращаются в новые образы и стандарты благополучия. Стремление к демократизации процесса технологического дизайна, также реализующего различные социальные стратегии, рассматривается отдельными исследователями творчества Э. Финберга как утопичное. При высокой объяснительной способности выдвигаемых им идей предлагаемые решения временами представляются как крайне трудно реализуемые с учетом той сложной институциональной коммуникации, которая складывается между общественными институтами в капиталистической и посткапиталистической реальности.

Политическая, экономическая и социальная повестки и декларации – исходят ли они от государства, частных коммерческих и некоммерческих структур – одновременно включают в себя стремление к эффективности и справедливости в работе функционирующих систем. Однако оно зачастую наталкивается на «противоречие экспертизы и участия» [Feenberg, 2002,

р. 134]. Как в теории, так и на практике эти два института плохо уживаются, приводя к «перекоосу» в распределении власти внутри систем. Он происходит, несмотря на то, что экспертиза должна выполнять административную техническую функцию. Технократичность здесь, во-первых, связывается с технологичностью, во-вторых, отделяется от того факта, что в основании технологического развития лежит множество отдельных решений людей. Есть множество способов ассоциации актуальной реальности и технологии, большинство из них избегает резких радикальных обозначений, однако есть ряд признаков, по которым вполне можно провести параллель современных подходов к решению большинства общественных задач в категориях технологического детерминизма.

Так, Э. Финберг утверждает, что незыблемость доминирующей технологической рациональности связана с приписыванием ей определенной автономной устойчивой логики. При этом логика культуры и ее границы неизбежно сдвигаются под технологическим натиском. В столь же «незавидном положении», по мнению исследователя, оказывается «идеология» (Э. Финберг в одном из пассажей особенно подчеркивает «logic»: «techno-logic», «ideo-logic», проводя различие между логикой идей и технологий). Утверждения и заявления, противоречащие «технологическим», мгновенно приобретают статус идеологических, однако расцениваются при этом как иррациональные и противоречащие идеям прогресса. Идеология воспринимается в связи с неуместным, но проявленным (в отличие от скрытого технорационального действия доминирующей власти) политическим влиянием на процессы технологического усовершенствования.

Технологические и идеологические концепции имеют один и тот же источник рациональности. Как когда-то А. Лефевр утверждал, что все пространство изначально политизировано, так и сейчас, делая выводы на основании представлений Э. Финберга, можно утверждать, что технологии изначально идеологизированы. Данный ход мысли может показаться и с высокой долей вероятности не являться новым. Тем не менее постоянно претерпевающий изменения словарь, связанный с разворачиванием технологий, способен скрыть и завуалировать «человеческую» природу всех претензий, предъявляемых к технологиям.

Одним из структурирующих процессов общественной жизни в рамках системы объяснений критической теории технологии становится реификация. Э. Финберг проводит параллель между фетишизацией К. Маркса, рационализацией М. Вебера и реификацией Д. Лукача. Все три рассматриваются в качестве «овеществления» процессов, перехода их из динамики в статику. Реификация затрагивает современные технологические процессы, связанные с использованием алгоритмов. Относительная автономность их работы приводит к ассоциации

с процессами, столь мало очевидными, что они оставляют возможность только для формальной оценки их работы условным внешним наблюдателям. Использование в подобных случаях ассоциаций с «черным ящиком» крайне небезопасно. Оно несет элемент снятой ответственности. Причем как со стороны идейно и технически ответственных профессионалов, так и пользователей технологий.

Именно понятие реификации в его ранней версии, представленной Г. Лукачем, связано с формальной рациональностью. В качестве заслуги как М. Вебера, так и К. Маркса рассматривается формирование ранних теорий формальных рациональных систем, среди которых – рынки и технологии. Что важно, их формальная медиация имеет саморасширяющийся характер. Все более рационализированные и формальные бюрократические и рыночные структуры крайне схожи в рамках данного теоретического подхода. В последнее время большой оборот набирает воплощение идеи уменьшения количества институциональных посредников как в рыночных операциях, так и связанных с взаимодействием с официальными государственными инстанциями. С учетом данной тенденции можно ли говорить о новом курсе общественных институтов и «самоуменьшающейся» формальной медиации?

Дело в том, что доля уменьшающейся медиации связана не только и не столько с устанавливаемым количеством формальных процедур, сколько с человеческим участием в них. Данная тенденция приводит к масштабированию систем, основанных на формальной рационализации. Э. Финберг, активно ссылаясь на Г. Маркузе, задает крайне важный для анализа общественных систем вопрос: что приводит к тому, что формальные системы оказываются ангажированы доминирующей властью? А также – в переносе на актуальную цифровую реальность, в какой мере сегодня формальные системы подвержены влиянию и кто его осуществляет?

Нейтральность формального разума и технологий с первого взгляда указывают на их аполитичность. Апеллирование к нейтральному статусу при этом становится эффективным инструментом их прямой и косвенной политизации. Однако сама по себе нейтральность оказывается характеристикой, достигнутой в результате ряда операций. Главной из них становится деконтекстуализация. Актуализируя разделение Г. Маркузе на субстанциальные и логико-математические (или формальные) универсалии, можно сказать, что деконтекстуализация также становится десубстанциализацией универсалий – способом лишения объектов времени, пространства, а значит, связи со средой и собственной динамики развития.

При этом главной целью становятся превращение обозначенных объектов в инструменты и приписывание им технических функций. Последние должны работать на эффективность системы и

рассматриваются исключительно утилитарно. Включенные в систему по отдельности, они не обладают ценностью, деконтекстуализированные и ставшие инструментами. Однако, став элементами той или иной системы, они приобретают для нее инструментальную ценность и, что не менее важно, оказываются под техническим контролем. «Процесс технологической рационализации – это политический процесс» [Feenberg, 2002, p. 170]. Если определять технологизацию как политический процесс, то ценности, привнесенные технологией, не могут быть исключительно технологическими или иначе «техническая практика служит сверхтехническим ценностям... более того, она контекстуализирована практиками, которые определяют ее место во всепоглощающей нетехнической системе действий» [Feenberg, 2002, p. 177].

Существует несколько основных моментов реификации технической практики, особенно ярко проявляющих себя в капиталистических обществах. Первый из них представляет актуальную проблему, второй – ее решение:

1) Деконтекстуализация и систематизация. За деконтекстуализацией как изначальным моментом технического развития следует систематизация. Для Э. Финберга это – вторичная инструментализация, в которой элементы соединяются в полезное устройство и затем устанавливаются связи в «среде» с такими же устройствами. Систематизация дает устройствам посредством технического дизайна своеобразную «новую» жизнь, компенсируя негативные результаты деконтекстуализации и вводя их в огромный ряд новых контекстов. Однако, как это видит Э. Финберг (и в этом состоит основной момент его критики капитализма в рамках обозначенных моментов реификации), на все многообразие контекстов специально накладываются ограничения, призванные максимизировать собственные прибыль и контроль.

2) Редукционизм и медиация. Редукционизм в рамках данной системы понимается как сведение объекта с его внутренней динамикой и наполненностью до инструментальной части, подлежащей внешнему контролю. Деконтекстуализация сама является инструментом формальной абстракции, который используется для получения технического знания. Этика, эстетика и техника искусственно разделяются в том числе в процессе редукции. Процесс медиации, способный вернуть объекту наполненность при встраивании в новый социальный контекст, связан с привнесением глубокой внутренней эстетики и гармонии со средой. Однако этот шаг потерян в современных обществах, по мнению исследователя, как и в целом система «выразительного дизайна» [Feenberg, 1995, p. 225].

3) Автоматизация и призвание. В отличие от автоматизации призвание обусловлено характером отношений субъекта и объекта. Они наполнены «ньютоновским» смыслом и связаны с взаимным определением и трансформацией, в том числе предопределяющими место в сообществе.

4) **Позиционирование и инициатива.** Позиционирование связано с использованием операционной автономности для того, чтобы одновременно находиться в системе и осуществлять контроль, не испытывая эффектов обратного воздействия (речь идет о стратегии в капиталистическом управлении). Любая критика научно-технической рациональности ведет, по мнению Э. Финберга, к политическому контролю исследований, и наиболее значительный его эффект достигается «на уровне фундаментальных эпистемологических решений» [Feenberg, 2002, p. 171]. Инициатива связана с заменой бюрократии на коллегиальность.

Таким образом, для каждого момента общественной реификации находится возможное решение. Все они связаны с возможностью реализации технологического холизма. Упомянув возможные решения Г. Маркузе, предложенные для преодоления всепоглощающей технической рациональности, Э. Финберг утверждает, что им они были сформулированы в манере, схожей с феминистской методологией науки. В методологии и ее связи с технологическим дизайном можно проследить интересное раскрытие идей демократизации рациональности, представлявшей собой конечную цель применения критической теории технологии.

Демократизация рациональности, технологический дизайн и «парадигма третьей волны»

Фрагментация социальных систем, требующая внешнего контроля, становится главным признаком проявленной доминирующей власти. Однако не сам по себе факт контроля, а реконструкция всей системы социальных отношений указывает на «гегемонию» технологической рациональности. Технологический холизм, сложность и контекстуальность рассматриваются Э. Финбергом в качестве методов преодоления сложившейся системы технических кодов. Феминистская методология науки и сама идея новой преемственной науки (successor science) подкрепляют идею необходимости контекстуализации знания. Одна из значимых фигур в исследованиях по данной теме, С. Хардинг [Harding, 1988; Harding, 2008; Harding, 2015], обнаруживает гендерную предвзятость не только в практике науки, но и в научном методе. Подвергается сомнению необходимость следовать одному научному стандарту и привилегированной позиции исследователя как выходящего за пределы рассматриваемого контекста. Такой подход не оправдан, поскольку у знания есть культурный, социальный и даже географический контексты. С увеличением роли географии и постгеографии в социальных исследованиях и научные картины также приобрели больший объем. Результатом стало появление важных эпистемологических направлений,

таких как «эпистемология точки зрения» (standpoint epistemology) и «ситуативная эпистемология» (situational epistemology).

В рамках данных представлений границы познания расширяются, включая не только строго рациональные рассуждения и умозаключения, но также физический и эмоциональный опыт. От общих характеристик новой преемственной науки и нового методологического подхода можно перейти к их реализации в рамках технологий.

Проводником здесь может послужить исследование «эпистемологической неприятности» (epistemological trouble) и ее возможного разрешения в рамках «парадигмы третьей волны» (third wave paradigm). Эта терминология, используемая в работе С. Харриса и его соавторов [Harris et al., 2011], показывает, как вопросы эпистемологии и технологического дизайна находят отклик в рамках исследований по взаимодействию человека и компьютера (HCI – human-computer interaction).

Согласно представлениям теоретиков данной области, компьютерные исследования тесно связаны с выбором ключевой метафоры. На основании этого даже была разработана «теория генеративных метафор» [Harrison et al., 2011, p. 385]. От их выбора во многом зависит постановка конкретных вопросов, целей и задач исследований.

На протяжении долгого времени ключевой метафорой являлось представление о человеческом мозге как процессоре информации. В связи с этим ключевым вопросом стали коммуникация человека и компьютера, ее влияние как на первого, так и на второго участника взаимодействия. В рамках этой метафоры работа если не всегда проста, то строго регламентирована по целям и задачам. Выстраиваемые модели как результаты работы допустимо и методологически важно сравнивать. Однако по аналогии с куньянскими кризисами науки и следующими за ними научными революциями однажды исследование оказывается в стагнации. Методологический подход исчерпывает себя, и в этот момент возникает «эпистемологическая неприятность». Так и в области HCI существует ряд новых в постановке вопросов, не вписывающихся в предшествующую традицию.

Авторы условно разделяют новые проблемы на четыре группы. Первой становится проблема контекста. В ходе многочисленных попыток оказалось, что контекст не поддается формализации в существующей традиции. Гейминг при этом показывает, что именно изменение контекста играет ключевую роль в любом расследовании или исследовательском проекте. Второй проблемой становится невозможность вместить ситуационные взаимодействия ни в одну из формально-теоретических моделей социального взаимодействия. Третий пункт представляет принципиальную методологическую значимость и касается нового программирования, не ориентированного на выполнение конкретных

задач. В контексте предыдущих рассуждений это становится особо важным моментом в уходе от первичной инструментальности. На практике дизайн интерфейса не должен привлекать к себе внимания, но составлять часть общего опыта окружающей реальности (*ambient intelligence* – окружающий разум). Последняя группа проблем связана с тем, что в классической когнитивной работе маргинализировались эмоции, которые в новой парадигме технологического дизайна должны быть учтены.

В соответствии с представленным выше описанием мы можем сделать вывод о главной проблеме, связанной с доминирующей в HCI метафорой. Она заключалась в том, что человек – это не только его разум, похожий на процессор информации. Это еще и физически воплощенное тело, всегда локализованное, но не всегда сфокусированное на разрешении той или иной задачи. Традиция автоматизации, как мы ранее видели и у Э. Финберга – это момент, который технология должна преодолеть по причине ее схематичности, грубости и неестественности. Люди – активные, жестикулирующие, общающиеся в коллективах существа. Их взаимодействие всегда связано с позитивным элементом риска (уже случившуюся коммуникацию нельзя «отменить»).

Решения для ряда данных проблем и возможный поиск новой метафоры вдохновлены «парадигмой третьей волны» и феминистским подходом в эпистемологии. Для него характерна феноменологичность: все действующие лица познавательного процесса помещены в конкретный физический и социальный контекст. Смыслы тут конструируются ситуативно; следовательно, и знание носит ситуативное воплощение. Впервые в эпистемологии обозначается принципиальная важность места и перспективы исследующего. Подобным образом и технологический дизайн ориентирован на то, что интерфейс будет соответствовать заданной локации. Немаловажным фактором также становится учет возможностей среды, а не попытка исчерпать все существующие технологические опции. Дизайн становится областью, где нет «золотого стандарта», как и не должно в рамках феминистской методологии его быть в науке. Это – область множества ценных перспектив, даже если они конкурируют между собой.

Заключение

Э. Финберга периодически критикуют за несколько наивные попытки разрешить проблему доминирования технологической рациональности и ограничения человеческой свободы через демократизацию самой рациональности. Одни исследователи придерживаются позиции, что технологически опосредованная коммуникация не приравнивается к действительному политическому участию, другие – что невозможно трансформировать социальную структуру только за счет изменения

технологической политики. Однако в его основательно продуманной критической теории технологии существует огромный объяснительный потенциал. Практическая часть реализации предложенных идей, основная из которых связана с вторичной инструментализацией как с возвращением смысла и полноты социальным процессам и коммуникации людей между собой и с окружающим миром, представлена в рамках HCI проектов. Данная область примечательна тем, что раскрывает в соответствии с критической теорией технологии возможности альтернативных дизайнов, в конечном итоге призванных освободить человека и предоставить ему всю полноту реализации и свободы.

Глава 9

Проблема социального оправдания философии науки

О.Е. Столярова

В статье рассматривается вопрос о социальном обосновании философии науки. Анализируется известное высказывание Ричарда Фейнмана о бесполезности философии науки для науки. Аналогия, проводимая Фейнманом, между орнитологами и птицами, с одной стороны, и философами науки и учеными, с другой стороны, демонстрирует, что социальное обоснование философии науки зависит от общей идеи научности или идеи науки как таковой. Показано, что позитивистский (индуктивистский) образ науки утверждает одностороннюю связь между наукой и ее объектом – природой. В этом образе ученые предстают как нейтральные регистраторы чувственных данных, отсылающих к закономерностям природы. Чем полнее знание этих закономерностей, тем полнее контроль ученых над своими объектами. Ученые не ожидают от объектов изучения «благодарности». Ученые сами определяют параметры контроля над объектами в целях подчинения их человеческим потребностям. В рамках этой модели у философов науки нет возможности найти такие аргументы в поддержку миссии своей научной дисциплины, которые устроили бы ученых: ученые не интересуются философией, наподобие того, как птицы не интересуются миссией орнитологов. Однако стратегии социального обоснования философии науки могут измениться, если мы признаем обратную связь между наукой и ее объектами. «Заинтересованная наука», которая вслушивается в свои объекты и учитывает их «интересы», способна радикально менять представления о контроле и пользе. В этом контексте философия науки вправе ожидать от ученых заинтересованности в философской проблематике, каковая и проявляется в ироническом высказывании Фейнмана, которое вторгается на территорию философии. Это открывает возможность продуктивного диалога заинтересованных участников.

Ключевые слова: наука, философия науки, знание, социальное оправдание науки, контроль, автономия, общественная польза, позитивизм, исследования науки.

Миссия философии науки

Философия науки – сложносоставная дисциплина. С одной стороны, она принадлежит к научным дисциплинам (во всяком случае, она включена в различные классификаторы специальностей научной квалификации). С другой стороны, объект ее изучения – различные научные дисциплины и наука в целом. Метафорически выражаясь, она представляет собой «пакет с пакетами»: она исследует науку в целом и, соответственно, не может не включать в себя исследование собственных исследований. Как и любая научная дисциплина (и любая профессия), философия науки нуждается в социальном оправдании (обосновании). Со времен Фрэнсиса Бэкона, определившего знание как могущество,

научное постижение мира прочно связывается с достижением власти над природой, с подчинением природы человеческим потребностям. В эпоху Бэкона человек рассматривался христианскими натурфилософами как наивысшая реализация божественного замысла. Поэтому польза, приносимая наукой человечеству, получила символическое, метафизическое измерение: то, что полезно человеку, полезно и самой природе, всему тварному миру, т.к. человек наделен свыше способностью к познанию воли Творца и к действиям в соответствии с ней [Сокулер, 2001, с. 35-57]. Хотя в секулярной культуре религиозный смысл привилегированного положения человека утрачивает силу, социальное и метафизическое оправдание науки по-прежнему основывается на идее высшего знания. Эта идея утверждает: человечеству доступно знание того, что именно является благом для человека и места его обитания – окружающего мира. Представители естественных наук не остаются равнодушными, если их спрашивают о пользе, которую они способны принести объекту своего изучения (природе) для блага человечества. Например, орнитологи видят свою задачу не только в том, чтобы изучать поведение птиц посредством наблюдения, но и в том, чтобы вмешиваться в естественные процессы, в частности, регулируя размножение и развитие популяций. Таким образом, социальная миссия орнитологии состоит в том, чтобы поддерживать биологическое разнообразие как условие устойчивого развития человеческой цивилизации.

В случае орнитологии объект ее изучения (птицы) и аудитория, которую она убеждает в значимости своей профессии (общество), не совпадают. Более-менее похожим образом обстоит дело и с другими естественно-научными дисциплинами. Даже если некоторые из них (например, медицинские науки) изучают человека, они изучают его как естественный феномен. Аргументы в поддержку своей миссии они предъявляют не человеческой физиологии, а коллективному разуму. В случае же социально-гуманитарных дисциплин, к каковым относится и философия науки, дело обстоит иначе. Изучая различные феномены общественной и духовной жизни, эти дисциплины обосновывают значимость своей профессии, обращаясь к производителям (носителям) этих феноменов и убеждая их в своей социальной миссии. Что касается философии науки, то здесь проблема социального обоснования принимает довольно острый характер. Во-первых, объект изучения философии науки (наука) и общественная аудитория, которую философия науки убеждает в значимости своей профессии, частично совпадают, поскольку ученые, как и прочие люди, принадлежат обществу. Во-вторых, обосновывая необходимость существования собственной профессии как научной дисциплины, философия науки не может не учитывать идею и миссию науки в целом – науки как объекта приложения ее (философии науки) исследовательских усилий.

Имея в виду вышесказанное, вернемся к орнитологам. Орнитология приведена в пример отнюдь не случайно. Она обращает наше внимание на драматические коллизии социального обоснования философии науки, которые явно обнаружили себя, когда Ричард Фейнман, крупнейший физик современности, лауреат Нобелевской премии, сделал (во всяком случае, считается, что сделал) знаменитое заявление. «Философия науки так же полезна ученым, как орнитология птицам», – сказал Фейнман, внеся беспокойство в ряды философов и в особенности философов науки²⁸. Философы болезненно переживают пренебрежение философией, тем более если это пренебрежение высказывается не со стороны «обычных» людей, что нетрудно было бы списать на недостаточную просвещенность, но со стороны самой науки в лице ее наиболее авторитетных ученых. На первый взгляд, беспокойство философов вполне понятно. Отсутствие моральной поддержки и одобрения со стороны лучшей (просвещенной) части общества ставит философов науки в унижительное положение нерадивых членов человеческого коллектива, которые даром хлеб едят.

Но посмотрим на дело иначе. Должны ли философы науки искать социальное оправдание в самом объекте своего изучения? Орнитологи как будто бы совершенно не страдают от того, что ими пренебрегают птицы. Напротив. Орнитологи, как и представители других естественных наук, изучают независимую реальность, в данном случае – птиц, и заинтересованы, прежде всего, в том, чтобы получить адекватный доступ к этой реальности. Если они провоцируют объекты своего изучения на новые действия в искусственных условиях, т.е. на такие реакции, которые не могли бы состояться без вмешательства человека, то они ожидают от этих объектов самостоятельного, независимого, поведения, которое раскрывало бы закономерности, присущие самой природе. Познание этих закономерностей и есть то главное средство, которое дает возможность орнитологам управлять своим объектом. Своего рода «одобрением» деятельности орнитологов со стороны самой природы служит достижение поставленных орнитологами целей, которые они сами определяют, исходя из собственного представления о пользе и благе. По аналогии с представителями орнитологии и других естественных наук философы должны были бы удовлетвориться тем, что имеют доступ к своему объекту – науке, которая живет своей собственной жизнью, не обращая внимания на философов, и именно поэтому интересна для изучения. Продолжая аналогию Фейнмана, скажем, что и философы науки в поисках социального оправдания своей профессии должны объяснить главным

²⁸ В начале лекции «Кого волнует история науки?», прочитанной в Лондонском королевском обществе в 2016 г. в связи с присуждением профессиональной премии, корейский и американский историк и философ науки Хасок Чанг с сожалением признал, что скептицизм ученых в отношении истории науки и философии науки – обычное явление. Сославшись на Фейнмана и его ироническую оценку философии науки, Чанг заметил, что он опасается, что если бы Фейнман судил об истории науки, она «походила бы на палеонтологию, одержимую вымершими птицами». [Chang, 2016, 3:50-4:50].

образом самим себе, а потом и всем остальным (кроме ученых), как добываемое ими знание о науке может способствовать общественному благу. Пусть философия науки претендует на контроль над своим объектом так же, как орнитология – над своим. Тогда философия утверждает, что, познавая науку, она вместе с приобретаемым знанием приобретает возможности и средства для осуществления воздействия на познаваемый объект с целью достижения общественной пользы. Она утверждает, что способна не только объяснить науку, но и направить ее в лучшую сторону или как минимум поддержать ее оптимальное состояние. Она способна провести демаркационную линию между наукой и псевдонаукой, отделить и очистить подлинный научный продукт от суррогата и снабдить общество настоящей наукой.

Вместе с тем данная аналогия имеет серьезные ограничения. Дело в том, что ученые, в отличие от бессловесных птиц (попугаи по понятным причинам не в счет), производят *знание*. Знание выражается как в виде формул, так и в виде содержательных высказываний. Возможно, отвлеченная эстетика количественных структур позволяет при определенной работе воображения уподобить символы логико-математического языка пению птиц, парящих и поющих в небесной выси для собственного удовольствия. Но что касается содержательных высказываний, с ними, как говорится, этот номер не пройдет. Эти высказывания, к чему бы они ни относились, затрагивают философию, круг интересов которой, как известно, совпадает с концептуальным содержанием мирового целого. И даже ироническое суждение о философах науки и орнитологах, приписываемое Фейнману, обнаруживает *ненейтральность* науки по отношению к философии. *Выражая* пренебрежение к философии, наука парадоксальным образом показывает свою заинтересованность, демонстрирует обратную связь с философией, вторгаясь на территорию философии, ибо суждение о философии – это тоже философское дело и философская проблема. Таким образом, для того, чтобы контролировать науку, наподобие того, как орнитология контролирует свой объект, философам науки нужна такая наука, которая обнаруживает полную индифферентность в отношении философии, безразличие в абсолютном смысле. Абсолютное безразличие не предполагает вообще никаких – ни положительных, ни отрицательных – суждений, затрагивающих философскую проблематику. Учитывая, что, как сказано выше, круг интересов философии равен мировому целому, такая наука должна была бы воздерживаться от любых содержательных высказываний, возведя это *воздержание от содержания* в принцип.

На первый взгляд, такое нелепое требование может предъявить науке только человек, начисто лишенный рассудка. Разве наука не познает мир в его многообразии, не объясняет его, не высказывается о нем? Если отнять у нее содержательные высказывания, тогда что от нее останется? В том-то и дело, что останется то, что должно остаться, и ничего лишнего

– говорят представители позитивизма²⁹, которые предъявляют науке именно такое требование и не без оснований. Позитивизм преследует благую цель: он желает получить неискаженный доступ к своему объекту. Он стремится занять такую познавательную позицию, при которой наука предстанет перед взором исследователя-философа во всем великолепии своей объективности, т.е. без привнесенных субъективных философских воззрений. Выдвигая это требование, позитивизм отчасти заимствует у науки ее собственный познавательный идеал³⁰. Так, Ньютон, пропуская свет через призму, добывал законы природы, относящиеся к реальности как таковой, а не только к призме и лабораторной экспериментальной ситуации. Задача Ньютона состояла в том, чтобы добиться таких условий эксперимента, которые обеспечивали бы возможность их полного теоретического устранения и получения доступа к изучаемому объекту (процессу) в «чистом виде». Позитивизм тоже смотрит на науку через методологические «очки», которые должны раскрывать объективную реальность (науку как таковую), а не производить локальные «инструментальные эффекты». В данном случае к таким нежелательным эффектам мы можем отнести все умозрительные рассуждения, все вопросы (и ответы) о причинности, субстанции, материи, пространстве, времени, душе, Боге, ценностях, мире-в-целом и т.п. Иными словами, речь идет о тех размышлениях (измышлениях), которыми издавна славилась философия и которые она могла бы вольно или невольно навязать науке. В сухом остатке – методология науки, благодаря которой наука некогда и заявила о себе как о предприятии *отличном* от философии.

Науке в отличие от философии нужны *факты*, очищенные от всех интерпретаций и предстающие как последовательность впечатлений. Наука ищет и выявляет закономерности, которые характеризуют связь впечатлений друг с другом, и формулирует математическое описание обнаруженных закономерностей. Искусственный язык математического описания обеспечивает науке два важных преимущества. Он, во-первых, отсекает все, что лежит за пределами измеряемых соотношений между событиями чувственного опыта и, во-вторых, позволяет подчинить любое частное событие опыта универсальной структуре открываемых закономерностей («законов природы»). В этом и заключается власть науки над своим объектом: познание универсальной необходимости естественного порядка вещей позволяет человеку расширять опыт в соответствии с заданным порядком. «Человек, слуга и истолкователь природы, столько совершает и понимает, сколько охватил в порядке

²⁹ Здесь и далее я употребляю термин «позитивизм» в широком смысле – как общее название для индуктивистской философии и методологии науки, объединяющей исторические виды эмпиризма и позитивизма.

³⁰ Этот идеал, впрочем, наука в свое время заимствовала у философии, связав его с чувственным опытом. Он заключается в производстве универсального знания, т.е. знания общего закона или общего образца, которому подчинен любой частный случай.

природы делом и размышлением. Никакие силы не могут разорвать или раздробить цепь причин; и природа побеждается только подчинением ей» [Бэкон, 1971, с. 83].

Итак, природа побеждается только познанием логики природы. Позитивизм, вооруженный этим идеалом «знания-могущества», рассуждает похожим образом: философия науки способна достичь контроля над своим объектом, наукой, только посредством познания логики науки «в чистом виде», без посторонних примесей. Как природа ничего не знает и не хочет знать о том, кто и как ее познает, и всегда действует сообразно своей собственной логике, раскрыть которую – задача ученого, так и искомая позитивизмом наука ничего не знает ни о философии вообще, ни о философии науки в частности. В буквальном смысле – *ничего*. Ибо, как только философия (наряду с любым другим опытом) становится объектом науки, она переводится на язык математического описания и лишается специфического содержания. Мысль, ставшая научным фактом, перестает быть мыслью³¹. Понятно, что в данной ситуации отношение философии науки к своему объекту характеризуется односторонностью или полным отсутствием обратной связи. Как и в случае орнитологов и птиц, это – «игра в одни ворота». Орнитологи не могут убедить птиц в том, что орнитология птицам полезна, да и не стремятся к этому. Философы науки не могут (и не должны) убедить науку в приносимой ей пользе. Почему же они испытывают неудобство и пытаются найти решение проблемы?

По-видимому, дело в том, что ученые не вполне соответствуют тому образу, который навязывает им позитивистская философия науки. Как бы ни стремились позитивисты очистить научную методологию от привходящих «инструментальных эффектов», ученые остаются людьми, членами человеческого коллектива, а не беспристрастными регистраторами чувственных данных, указывающих на объективные закономерности природы. Ироничное замечание Фейнмана делает явным это обстоятельство, равно как подтверждает тот примечательный факт, что наука не равнодушна к философии. На мой взгляд, именно признание этого равнодушия может дать нам ключ к решению проблемы. Высказанное Фейнманом пренебрежение по отношению к философии науки может парадоксальным образом выступить приглашением к диалогу.

³¹ Это выразил М. Хайдеггер своей широко известной фразой: «Наука не мыслит». «От науки в мышление нет мостов, – говорит Хайдеггер, – возможен лишь прыжок» [Хайдеггер, 1991, с. 137].

Приглашение к диалогу

Попробуем развить несколько дальше аналогию Фейнмана и обратимся к ученым для того, чтобы вернуться потом к философам науки. Посмотрим, так ли ученые беспристрастны в отношении своих объектов, как позитивистская философия науки от них ожидает. Предположим, что позиция ученых в отношении своих объектов обнаруживает некоторые существенные особенности, позволяющие внести коррективы в позитивистскую идею науки как таковой. Не открывает ли это, в свою очередь, возможность внести коррективы и в содержание претензий философии науки на научный характер собственной дисциплины, и в стратегии социального обоснования философии науки?

Орнитологи не ожидают от птиц одобрения своей деятельности, но они ожидают этого одобрения от общества. Для устойчивого одобрения недостаточно определить социальную миссию своей профессии. Необходимо также постоянно или как минимум время от времени представлять обществу доказательства того, что эта миссия выполняется. Речь, конечно, не только об орнитологах. Если любая научная дисциплина не оправдывает возлагаемых на нее надежд, общество вправе предъявить ей счет. Но кто судит о том, насколько те или иные претензии общества по отношению к науке обоснованы? На первый взгляд, никто, кроме ученых, не может судить об этом профессионально. Именно ученые задают параметры контролируемости природных процессов и представляют обществу доказательства в пользу их достижения.

Рассмотрим показательный пример. В относительно недавнем диалоге между журналистом и авторитетным биологом К.В. Севериновым последний вынужден был защищаться от упрека, который прочитывался в вопросе журналиста о том, нельзя ли быстрее создать надежные лекарства от COVID-19. Северинов объясняет, что процесс тестирования методов лечения не может идти быстрее: «Вы же не можете заставить лабораторных мышей быстрее или медленнее делать что-то, потому что вам этого очень хочется» [Северинов, 2020, 6:39-6:55]. Северинов дает понять наивному журналисту и его аудитории: мы не можем нарушать естественный порядок и навязывать природе свои желания. Природа (в данном случае – лабораторные мыши) действует самостоятельно, и наша задача – действовать в соответствии, а не в противоречии с ней. Если мы будем противоречить природе, мы ничего не добьемся. Ответ Северинова любопытен, поскольку провоцирует нас на следующий вопрос. Что мы в действительности можем и что мы не можем? Почему мы можем – или как минимум надеемся, что можем – заставить вирус (SARS-CoV-2) прекратить свою губительную атаку, но думаем, что *не* можем заставить лабораторных мышей реагировать на наше воздействие с большей скоростью? Если предположить, что новый вирус – это такой же *естественный* объект, как и лабораторная мышь,

то навязать ему наши желания столь же невозможно, как и заставить лабораторную мышь «быстрее или медленнее делать что-то». Если же предположить, что вирус создан в лаборатории, то и это, по сути, ничего не меняет³²: тогда он такой же *искусственный*, как и лабораторная мышь, т.е. искусственный до некоторых пределов, *определяемых* самой природой.

Очевидно, что первый вопрос, который возникает в связи с необходимостью подтвердить и оправдать социальную миссию науки, заключается в следующем: до каких пределов мы можем вторгаться в естественный порядок вещей и навязывать природе наши желания? Когда природа начинает сопротивляться, и как это сопротивление изменяет наши исходные интенции? Из пояснения, данного Севериновым журналисту, можно сделать вывод: мы *еще не* знаем, каковы внутренние «степени свободы» нового вируса, но *уже знаем*, каковы внутренние «степени свободы» лабораторных мышей. Сопротивление лабораторной мыши выражает *уже открытую* нами логику природы, в соответствии с которой нам следует действовать. Однако граница между тем, что мы *уже знаем* и тем, что мы *еще не знаем*, все время меняется, причем она может сдвигаться в обоих направлениях. Так, опубликованный (вскоре после вышеотмеченного интервью Северинова) на сайте *bioRxiv* препринт исследователей из Пекинского института микробиологии [Gu H., 2020] (русскоязычный анонс препринта см.: [Алимов, 2020]) сообщает о том, что разработан новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, способный с большей скоростью поражать ранее выведенных лабораторных мышей, обладающих специфическим ферментом, благодаря которому достигается повышенная восприимчивость к SARS-CoV-2. Инфицирование нового вида мышей новым штаммом обеспечивает значительно более высокую динамику тестирования вакцины – докладывают китайские исследователи. Не означает ли это, что в противоположность утверждению Северинова мы все же можем «заставить лабораторных мышей быстрее или медленнее делать что-то», если нам этого «очень хочется»? Я, разумеется, не берусь судить о научной значимости и практической эффективности разработки китайских ученых³³. Суждение об этом вынесет или уже вынесло соответствующее научное сообщество. Приведя этот пример, я хотела бы подчеркнуть, что границы нашего знания и незнания чрезвычайно подвижны, особенно в периоды природно-культурной турбулентности, один из которых мы сегодня наблюдаем и переживаем. И если мы заранее *не* знаем пределов нашего знания, то это *незнание* имеет место не потому, что мы еще не полностью открыли предзаданную логику природы, а потому, что «логика природы» обладает внутренней способностью к изменению, отвечающему на наше воздействие. Такая способность позволяет говорить о парадоксальной *реактивной*

³² Кроме социальной и правовой ответственности, которая относится к моральному должностованию.

³³ Специального внимания требует также важный вопрос о моральных издержках опытов над животными.

самостоятельности природы, потому что «подчинение», которое демонстрирует природа, *ограничивает* наши собственные претензии на знание-могущество и полномостный контроль над объектом познания. Да, мы, вероятно, можем в какой-то степени навязать лабораторным мышам наши желания, но полученный при этом результат оказывается способен изменить наши представления о том, что могут и что не могут лабораторные мыши.

«Подчинение», таким образом, следует интерпретировать в терминах обратной связи, которая может быть как положительной, так и отрицательной³⁴. Но данное состояние дел совершенно непохоже на «игру в одни ворота». Оно предполагает, что вопрос о пользе, которую наука могла бы принести своему объекту на благо человечества, отчасти изымается из компетенции ученых и переносится в компетенцию самой природы. Пусть наши интенции, обильно приправленные нашими желаниями, нашими *интересами*, позволяют нам преодолевать те ограничения, которые накладывает на нас наше знание о том, как устроена природа. Но они же выступают и тем инструментом, посредством которого преодолевается формальная нейтральность науки по отношению к своему объекту, а, следовательно, преодолевается и тесно связанная с формально-нейтральной позицией претензия на полную предсказуемость, тотальную исчисляемость и универсальный контроль. *Заинтересованность* совсем не означает вседозволенность. Она означает пристрастное внимание к тем объектам и процессам, которые, попадая в круг наших потребностей, способны сообщить нам о себе нечто неожиданное. Именно о такой заинтересованной науке говорит Б. Латур, вводя дистрикцию между «вопросами факта» (matters of fact) и «вопросами заботы» (matters of concern) [Latour, 2004, p. 231]. Для заинтересованной науки вопросы факта – это всегда вопросы заботы, которая как прожектор высвечивает и выхватывает из природы именно то, что отвечает экзистенциальным нуждам человека, и платит за это, принимая на себя бремя эмпатии по отношению к тому, что она выбирает. Поэтому вопрос о лабораторных мышках (и прочих подопытных животных) задается в отношении не только эффективности экспериментов, проводимых над ними, но и допустимости причинения страданий живым существам во имя науки [Beauchamp, Frey (eds.), 2014]. Точнее говоря, *эффективность* получает расширенное значение: она сопрягается с моралью так же, как *факты* сопрягаются с *ценностями*.

Образ мыслей и действий *заинтересованной* науки существенно отличается от той модели научного познания, на которую ориентирован позитивизм. «Философы долго делали из науки мумию. Когда же труп

³⁴ «Мы и будем искать меры с помощью методов тыка, в этом научный подход состоит», – говорит Северинов в процитированном выше интервью [Северинов, 2020, 6:18-6:23]. «Метод тыка» зачастую приводит ученых не туда, куда они шли (вспомним метод «проб и ошибок» К. Поппера).

был, наконец, распеленут... они придумали для себя кризис рациональности» [Хакинг, 1998, с. 17]. Эти известные слова Я. Хакинга метафорически выражают ситуацию тупика, в который попадает философия науки, когда она – изменим метафору – сталкивается лицом к лицу с собственным любовно выпестованным детищем, неожиданно заявившим о своей независимости и пренебрежении к родителю. Но, создавая, конструируя или выращивая самостоятельное существо, нам следует быть готовыми к тому, что оно в какой-то момент выйдет из-под контроля³⁵. Проблема позитивистской философии науки, на наш взгляд, состоит в том, что она не в состоянии учесть диалектическую взаимосвязь контроля и автономии³⁶. Пусть «мумия», которую «философы долго делали из науки», в какой-то момент обнаружила живость характера. Но не потому ли это произошло, что философия *преуспела* на своем поприще? Защищая чистоту и строгость научной (индуктивистской) методологии, философия взрастила собственное alter ego – гипотетическое, проверяемое знание, открытое для исправления, которое продемонстрировало эффект бумеранга: оно поставило под сомнение претензию философии на априорные догматические концепции и, прежде всего, концепцию универсального научного метода формализации опытных данных. Поворот философии науки от позитивистской формальной логико-математической модели научного знания к эмпирическим (историческим, этнографическим, социокультурным и т.п.) исследованиям науки есть важнейшее свидетельство обратной связи между философской конструкцией и научной автономией³⁷.

Заключительные замечания

Итак, мы рассмотрели и попытались проанализировать распространенное мнение о бесполезности философии науки для науки. Обратившись к высказыванию Фейнмана, мы увидели, что вопрос о пользе, которую могла бы принести философия науки своему объекту –

³⁵ О диалектике контроля и автономии в технонауке, конструирующей искусственную жизнь, см.: [Стенгерс, 2012].

³⁶ Об автономии науки в коммуникативном смысле см.: [Антоновский, 2016].

³⁷ Анализ влияния методологии и результатов науки на философию науки и междисциплинарные исследования науки см.: [Латур, 2003; Zammito, 2004; Fuller, 2015; Bunge, 2017]. Хочу также отметить относительно недавно проведенное в МГУ под руководством З.А. Сокулер магистерское исследование (ВКР) П.С. Петрухиной «Статус и роль эмпирических исследований в современной эпистемологии» (2020 г.). Мне посчастливилось выступить рецензентом этой замечательной работы, в которой проанализирована связь (включая обратную связь) между философскими концепциями естественно-научной методологии и актуальными практиками науки. П.С. Петрухина показывает, что признание перформативного характера естественно-научной методологии (наука не только *познает* мир, но и *создает* новые реалии) переопределяет и собственную методологию социальных наук, которую они применяют для изучения естественных наук. К сожалению, в настоящий момент я не могу сослаться на опубликованную работу, но ориентирую читателя данной статьи на будущие публикации молодого ученого, которые, я надеюсь, последуют за магистерской диссертацией.

науке, задается по аналогии с вопросом о пользе, которую могла бы принести наука своему объекту – изучаемой природе. Предполагаемая нейтральность природы по отношению к тому, кто ее изучает, проецируется на отношение науки к изучающей ее философии. Однако природа реагирует на наши усилия по ее изучению, заставляя нас пересматривать наши представления о контролируемой пользе. Не так ли обстоит дело и в отношениях науки и философии науки? Высказывая пренебрежение по отношению к философии, наука парадоксальным образом вторгается на территорию философии, демонстрируя свою *ненейтральность*, что открывает возможность для продуктивного диалога заинтересованных участников. В таком случае ироническое высказывание Фейнмана приобретает иное значение: оно не парализует философов науки, не оставляет их в тупике, но, напротив, вызывает конструктивную реакцию. Если решение вопроса о пользе, которую может и должна приносить наука, зависит от общей конфигурации системы, включающей не только ученых, но и те существа, объекты, процессы, которым ученые предоставляют право голоса, то не похожим ли образом обстоит дело и в системе взаимоотношений философии науки с изучаемым ею объектом – наукой? Согласившись с этим, мы обнаружим готовность отнестись к словам Фейнмана, как они того заслуживают: интерпретировать их не как демонстрацию равнодушия (нейтральности) науки по отношению к философии, а как приглашение к диалогу, в ходе которого решение науки о бесполезности философии науки может быть пересмотрено.

Литература

Алимов, 2020 – Алимов Т. Найден возможный способ ускорить создание вакцины от COVID-19 [Электронный ресурс] // Rg.ru. 05.05.2020. URL: <https://rg.ru/2020/05/05/sozdanie-vakciny-ot-covid-19.html> (дата обращения: 10.05.2021).

Антоновский, 2016 – Антоновский А.Ю. Коммуникативная интерпретация науки в контексте классических эпистемологических проблем // Эпистемология и философия науки. 2016. Т. 48. № 2. С. 159-175.

Башляр, 1987 – Башляр Г. Философское отрицание // Башляр Г. Новый рационализм. М., 1987.

Башляр, 2000 – Башляр Г. Прикладной рационализм // Башляр Г. Избранное. Том 1. Научный рационализм. М.; СПб., 2000. С. 7-198.

Башляр, 2016 – Башляр Г. Актуальность истории науки // Эпистемология и философия науки. 2016. № 2. С. 220-232.

Бэкон, 1971 – Бэкон Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1971.

Васильев, 2009 – Васильев В.В. Трудная проблема сознания. М., 2009.

Вдовина, 2013 – Вдовина Е.В. Как исправить говор? [Электронный ресурс] URL: <https://proza.ru/2013/08/13/966> (дата обращения: 09.08.2021).

Вебер, 1990 – Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения / Сост., общ. ред., послесл. Ю.Н. Давыдова. М.: Прогресс, 1990. С. 707-735.

Венгер, 2020 – Венгер А. Мир после капитала (крауд-перевод книги). [Электронный ресурс]. URL: <https://habr.com/ru/post/520610/> (дата обращения 10.05.2021)

Витгенштейн, 1994 – Витгенштейн Л. Философские исследования // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994.

Вострикова, 2021 – Вострикова Е.В. Современная лингвистика и миссия языковеда // Касавин И.Т., Вострикова Е.В. (ред). Миссия ученого в современном мире: наука как призвание и профессия. М.: Изд-во РОИФН, 2021. (в печати)

Выготский, 1983 – Выготский Л.С. Собр. соч., в 6-ти т. Т. 3. М., 1983.

Гавриленко, 2017 – Гавриленко С.М. Историческая эпистемология: Зона неопределенности и пространство теоретического воображения // Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 52. № 2. С. 20-28.

Гаитянский креольский язык, 2020 – Гаитянский креольский язык [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гаитянский_креольский_язык (дата обращения: 08.09.2020).

Галисон, 2004 – Галисон П. Зона обмена: координация убеждений и действий // Вопросы истории естествознания и техники. 2004. № 1. С. 64-91.

Гартман, 2019 – Гартман Т. Речь как меч. М.: Бомбора, 2019.

Дастон, Галисон, 2018 – Дастон Л., Галисон П. Объективность / пер. с англ. Т. Вархотова, С. Гавриленко, А. Писарева. М.: Новое литературное обозрение, 2018.

Демьянков, 1996 – Демьянков В.З. Продуцирование, или порождение речи // Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1996. С. 129-134.

Деннет, 2004 – Деннет Д. Виды психики: на пути к пониманию сознания. М., 2004.

Иванов, 2010 – Иванов Д.В. Функционализм – метафизика без онтологии // Эпистемология и философия науки. 2010. № 2. С. 95-111.

Касавин, 2009 – Касавин И.Т. О семиотически-коммуникативной теории сознания (в развитие идей Л.С. Выготского) // Эпистемология и философия науки. 2009. № 3. С. 152-167.

Касавин, 2020a – Касавин И.Т. Наука – гуманистический проект. М.: Издательство «Весь мир», 2020.

Касавин, 2020б – Касавин И.Т. Этический парадокс науки: между абсолютном и солидарностью // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2020. Т. 55. С. 249-254.

Капуччи, 2016 – Капуччи П.Л. Природа технологий: технологии как природа (пер. А. Матвеева) // Булатов Д. (ред.) По ту сторону медиума: искусство, наука и воображаемое технокультуры. Калининград: БФ ГЦСИ, 2016. С. 8-15.

Кротов, 2017 – Кротов А.А. Методология современных историко-философских исследований во Франции // Вопросы философии. 2017. № 6. С. 52-62.

Кутырев, 2018 – Кутырев В.А. Сова Минервы вылетает в сумерки (Избранные философские тексты XXI века). СПб.: Алетейя, 2018.

Латур, 2002 – Латур Б. Дайте мне лабораторию, и я переверну мир // Логос. 2002. № 5-6 (35). С. 211-242.

Латур, 2003 – Латур Б. Когда вещи дают сдачи: возможный вклад «исследований науки» в общественные науки // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 2003. № 3. С. 20-39.

Латур, 2013 – Латур Б. Наука в действии: следя за учеными и инженерами внутри общества / пер. с англ. К. Федоровой; науч. ред. С. Миляева. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013.

Латур, 2018 – Латур Б. Политики природы. Как привить наукам демократию / пер. с фр. Е. Блинов. М.: Ad Marginem, 2018.

Лекторский, Молчанов, Зинченко, 2009 – Лекторский В.А., Молчанов В.И., Зинченко В.П. Сознание // Энциклопедия эпистемологии и философия науки. М., 2009.

Мангейм, 1994 – Мангейм К. Идеология и утопия // Мангейм К. Диагноз нашего времени / пер. с нем. и англ. М.: Юрист, 1994. С. 7-276.

Манович, 2017 – Манович Л.З. Теории софт-культуры. Нижний Новгород: Красная ласточка, 2017.

Манович, 2018 – Манович Л.З. Язык новых медиа. М.: Ад Маргинем Пресс, 2018.

Мационг, 2019 – Мационг Е. Ученые назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно [Электронный ресурс] URL: <https://rg.ru/2019/07/27/reg-urfo/uchenye-nazvali-10-oshibok-v-rechi-za-kotorye-bolshe-vsego-stydno.html> (дата обращения: 09.08.2021).

Меркулов, 2003 – Меркулов И.П. Эпистемология (когнитивно-эволюционный подход). СПб., 2003.

Митрофанова, 2016 – Митрофанова А. Паника смысла: прах, плоть и организация // Булатов Д. (ред.) По ту сторону медиума: искусство, наука и воображаемое технокультуры. Калининград: БФ ГЦСИ, 2016. С. 32-37.

Михель, 2019 – Михель Д. Мишель Фуко и западная медицина // Логос. Т. 29. 2019. № 2. С. 64-80.

Никифоров, 2019 – Никифоров А.Л. Трансформация науки в XX в.: от поиска истины к совершенствованию техники // Эпистемология и философия науки. 2019. Т. 56. № 3. С.20-29.

Никифоров, 2021 – Никифоров А.Л. Становятся ли люди лучше? // Социологическое обозрение. 2021. Т. 20. № 3. С. 332-338.

Нурсеитова, 2017 – Нурсеитова Т. Трехязычное обучение в Казахстане внедряется поэтапно [Электронный ресурс] URL: <https://www.zakon.kz/4891234-trehyazychnoe-obuchenie-v-kazahstane.html> (дата обращения: 09.08.2021).

Патнэм, 1998 – Патнэм Х. Философия сознания. М., 1998.

Петренко, 2010 – Петренко В.Ф. Многомерное сознание: психосемантическая парадигма. М.: Новый хронограф, 2010.

Пинкер, 2009 – Пинкер С. Язык как инстинкт. М.: URSS, 2009.

Пинкер, 2021 – Пинкер С. Лучшее в нас: Почему насилия в мире стало меньше. М.: Альпина нон-фикшн, 2021.

Плунгян, 2015 – Плунгян В.А. Русский язык в современном мире [Электронный ресурс] URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Abcki8MS474> (дата обращения: 09.08.2021).

Прист, 2000 – Прист С. Теории сознания / Пер. с англ. и предисловие А.Ф. Грязнова. М., 2000.

Пэнто, 2004 – Пэнто Л. Эскиз философского поля Франции в 1960-1980-е годы / Пер. с фр. А. Зайцевой // Логос. 2004. № 3-4 (43). С. 205-230.

Райл, 1999 – Райл Г. Понятие сознания. М., 1999.

Рей, 2010 – Рей А. Современная философия: проблемы происхождения, цели и последней сущности вещей. / Пер. с фр. Д.Л. Вайса. Изд. 2-е. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010.

Розов, 2008 – Розов М.А. Инженерное конструирование в научном познании // Философский журнал. 2008. № 1. С. 54-68.

Рорти, 2005 – Рорти Р. Мозг как компьютер, культура как программа // Эпистемология и философия науки. 2005. № 2. С. 6-35.

Северинов, 2020 – Северинов о снижении уровня заболеваемости коронавирусом и реальных цифрах смертности мире [Электронный ресурс] // Эхо Москвы. 24.04.20. URL: <https://youtu.be/mmUmicS4-B0> (дата обращения: 10.05.21)

Серл, 2002 – Серл Дж. Открывая сознание заново. М., 2002.

Соколов, 1984 – Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII веков. М.: Высшая школа, 1984.

Соколова, 1995 – Соколова Л.Ю. Историческая эпистемология во Франции. СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 1995.

Сокулер, 2001 – Сокулер З.А. Знание и власть. Наука в обществе модерна. СПб.: Издательство Русского христианского гуманитарного института, 2001.

Стенгерс, 2012 – Стенгерс И. Сердце Бога и вещество жизни // Онтологии артефактов: взаимодействие «естественных» и «искусственных» компонентов жизненного мира / Под ред. О.Е. Столяровой. М.: Дело, 2012. С. 42-79.

Столярова, 2018 – Столярова О.Е. Историческая онтология как проблема // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2018. № 45. С. 194-202.

Столярова, 2021 – Столярова О.Е. Наука и идеалы гуманизма // Вестник Томского Государственного Университета. Философия. Социология. Политология. № 60. 2021. С. 248-253.

Сутье, 2004 – Сутье Ш. Анатомия философского вкуса / Пер. с фр. А. Зайцевой // Логос. 2004. № 3-4 (43). С. 123-170.

Фабиани, 2004 – Фабиани Ж.-Л. Философы республики. Пространство возможного: французская философия на рубеже XIX—XX вв. / Пер. с фр. О. Тимофеевой // Логос. 2004. № 3-4 (43). С. 91-122.

Филатов и др., 2005 – Филатов В.П., Лекторский В.А., Зинченко В.П., Молчанов В.И. Обсуждаем статью «Сознание» // Эпистемология и философия науки. 2005. Т. 3. № 1. С. 140-159.

Фоллмер, 1998 – Фоллмер Г. Эволюционная теория познания. М., 1998.

Фуко, 1999 – Фуко М. Надзирать и наказывать. М.: Ад Маргинем, 1999.

Фуко, 2008 – Фуко М. Технологии себя // Логос. 2008. № 2. С. 96-122.

Хайдеггер, 1991 – Хайдеггер М. Что значит мыслить? // Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге: сборник. М.: Высшая школа, 1991. С. 134-145.

Хакинг, 1998 – Хакинг Я. Представление и вмешательство: начальные вопросы философии естественных наук. М.: Логос, 1998.

Чистякова, 2016 – Чистякова О.А. Образы человека в культуре модерна и постмодерна // Культурное наследие России. 2016. № 4. С. 85-93.

Шевченко, 2020 – Шевченко С.Ю. Презирать и подсказывать: эпистемическая несправедливость и контр-экспертиза // Эпистемология и философия науки. 2020. Т. 57. № 2. С. 20-32.

Шевченко, Тухватулина, 2020 – Шевченко С.Ю., Тухватулина Л.А. Несвятая простота: эпистемология добродетелей и три стратегии отрицания научного знания // Вопросы философии. 2020. № 11. С. 109-119.

Шиповалова, 2017 – Шиповалова Л.В. Стоит ли науку мыслить исторически? // Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 51. № 1. С. 18-28.

Штраус, 2000 – Штраус Л. Введение в политическую философию / пер. с англ. М. Фетисова. М.: Логос, Праксис, 2000.

Эпштейн, 2016 – Эпштейн М.Н. О гуманитарном изобретательстве // Новое литературное обозрение. 2016. № 2. 2016. [Электронный ресурс]. URL: <https://magazines.gorky.media/nlo/2016/2/o-gumanitarnom-izobretatelstve.html> (дата доступа: 12.06.2021)

Харре, 2005 – Харре Р. Гибридная психология: союз дискурс-анализа с нейронаукой // Эпистемология и философия науки. 2005. Т. 6. № 4. С. 38-63.

Харре, 2007 – Харре Р. Философия сознания: итоги и перспективы // Эпистемология и философия науки. 2007. Т. 14. № 4. С. 13-29.

Юлина, 2004 – Юлина Н.С. Головоломки проблемы сознания. М., 2004.

Юм, 2009 – Юм Д. Трактат о человеческой природе. Часть первая. О познании. М., 2009.

Bachelard, 2004 – Bachelard G. La formation de l'esprit scientifique: contribution à une psychanalyse de la connaissance. Paris: PUF, 2004.

Bachelard, 1972 – Bachelard G. Le nouvel esprit scientifique et la créations des valeurs rationnelles. // Bachelard G. L'engagement rationaliste. Paris: PUF, 1972.

Bachelard, 1953 – Bachelard G. Matérialism Rationnel (1953). 3me ed. Paris: PUF, 1972. 225 p.

Bachelard, 1940 – Bachelard G. Philosophie du Non (1940). 4me ed. Paris: PUF, 1966. 147 p.

Beauchamp, Frey (eds.), 2014 – The Oxford Handbook of Animal Ethics / Ed. by T.L. Beauchamp, R.G. Frey. N.Y. and Oxford: Oxford University Press, 2014.

Bickerton, 1981 – Bickerton D. Roots of Language. Karomer Publishers, Inc., 1981

Bolhuis et al., 2014 – Bolhuis J.J., Tattersall I., Chomsky N., Berwick R.C. How could language have evolved? PLoS Biology. 2014. Vol. 12. Is. 8, e100193, Pp. 1-6.

Bonnet, Laugier, 2004 – Bonnet Ch., Laugier S. Présentation. // Philosophie des sciences: théories, expériences et méthodes. Paris, 2004.

Braunstein, 2002 – Braunstein J.-F. Bachelard, Canguilhem, Foucault. Le «style français» en épistémologie. // Les philosophes et la science. Paris: Gallimard, 2002. Pp. 920-963.

Braunstein, 2006 – Braunstein J.-F. Abel Rey et les débuts de l'Institut d'histoire des sciences et des techniques (1932-1940) // L'épistémologie française, 1830-1970. Paris: PUF, 2006. Pp. 173-191.

Braunstein, 2012 – Braunstein J.-F. Historical Epistemology, Old and New // Epistemology and History. From Bachelard and Canguilhem to Today's History of Science. Eds. Jean-François Braunstein, Hennig Schmidgen, Peter Schöttler. Paris: Max Planck Institute for the History of Science, 2012. Pp. 33-41.

Brenner, 2005 – Brenner A. Réconcilier les sciences et les lettres: Le rôle de l'histoire des sciences selon Paul Tannery, Gaston Milhaud et Abel Rey // Revue d'histoire des sciences. 2005. Vol. 58. No. 2. Pp. 433-454.

Brenner, 2006 – Brenner A. Un "positivisme nouveau" en France au début du XX siècle (Milhaud, le Roy, Duhem, Poincaré) // L'épistémologie française, 1830-1970. Paris: PUF, 2006. Pp. 11-25.

Bucchi, 2008 – Bucchi M. Of deficits, deviations and dialogues: theories of public communication of science // Bucchi M., Trench B. (Eds.) Handbook of Public Communication of Science and Technology. London: Routledge, 2008. Pp. 57-76.

Bunge, 2017 – Bunge M. The Sociology-Philosophy Connection. London and New York: Routledge, 2017.

Canguilhem, 1963 – Canguilhem G. L'histoire des sciences dans l'œuvre épistémologique de Gaston Bachelard. // Annales de l'Université de Paris, Janvier-Mars, 33 an., No. 1, 1963. Pp. 24-39.

Carnie, 2013 – Carnie A. Syntax. A generative introduction. London, 2013.

Connant, 2009 – Connant J. From the Method to methods // 32 International Wittgenstein's Symposium / Papers, Kirchberg am Wechsel, 2009. P. 7.

Chalmers, 2005 – Chalmers D. Facing Up to the Problem of Consciousness // The Journal of Consciousness Studies. 1995. No. 2(3). Pp. 200-219.

Chang, 2016 – Chang H. Who Cares About the History of Science? [Electronic resource] // Wilkins-Bernal-Medawar Lecture. The Royal Society. London., 10 May, 2016. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=EmrmikLbjHI&ab_channel=TheRoyalSociety (date of accessed: 12.05.21).

Chimisso, 2003 – Chimisso Cr. The tribunal of philosophy and its norms: history and philosophy in Georges Canguilhem's historical epistemology // Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences. 2003. Vol. 34. Pp. 297-327.

Chimisso, 2008 – Chimisso C. Writing the history of the Mind: philosophy and science in France, 1900 to 1960. Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2008.

Chimisso, Gad, 2003 – Chimisso Cr., Gad F. A Mind of her Own: Helene Metzger to Emile Meyerson, 1933. 2003. Is. 94(3). Pp. 477-491.

- Chomsky, 1957* – Chomsky N. Syntactic Structures. New York, 1957.
- Chomsky, 1959* – Chomsky N. Review of Skinner's Verbal Behavior // Language. 1959. Vol. 35. Pp. 26-58.
- Chomsky, 1965* – Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, MA: MIT Press, 1965.
- Chomsky, 1986* – Chomsky N. Knowledge of Language, Its Nature, Origin and Use. New York.: Praeger, 1986.
- Chomsky, 2006* – Chomsky N. Language and Mind. New York.: Cambridge University Press, 2006.
- Collins, 1998* – Collins R. The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998.
- Couturat, 1896* – Couturat L. De l'infini mathématique. Paris: Alcan, 1896.
- Couturat, 1901* – Couturat L. Lexique philosophique // Russell B. Essai sur les fondements de la géométrie. Paris: Gauthier-Villars, 1901. Pp. 255-260.
- Cowie, 2017* – Cowie F. Innateness and Language. Stanford Encyclopedia of Philosophy. URL: <https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/innateness-language/> (date of accesead: 12.08.2021)
- Crain et al., 2017* – Crain S., L. Koring, Thornton R. Language Acquisition from a Bilingual Perspective // Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 2017. Vol. 81(B). Pp. 120-149.
- Curtiss, 1977* – Curtiss S. Genie: a Psycholinguistic Study of a Modern-day “Wild Child”. New York: Academic Press, 1977.
- Davenport, Beck, 2001* – Davenport T.H., Beck J.C. Getting the attention you need // Goleman D. et al Harvard Business Review on what makes a leader. Harvard: Harvard Business School Press, 2001. Pp. 87-110.
- Davidson, 1984* – Davidson D. Inquiries into Truth and Interpretation. Oxford, 1984.
- Davidson, 2001* – Davidson D. Essays on Actions and Events. Oxford, 2001.
- Dean, 2009* – Dean J. Democracy and Other Neoliberal Fantasies. London: Duke University Press, 2008.
- DeGraff, 2019* – DeGraff M. Against apartheid in education and in linguistics: The case of Haitian Creole in neo-colonial Haiti. Foreword [Electronic resource] // Donaldo Macedo (ed.), Decolonizing foreign language education: The misteaching of English and other colonial languages, ix–xxxii. New York: Routledge, 2019. URL: http://lingphil.scripts.mit.edu/papers/degraff/DeGraff_2019_Against_Apartheid_in_Haiti.pdf (date of accessed: 17 June, 2020).
- DeGraff, 2020* – DeGraff M. The politics of education in post-colonies: Kreyòl in Haiti as a case study of language as technology for power and liberation // Journal of Postcolonial Linguistics. 2020. No. 3. Pp. 89-125.

Dummett, 1991 – Dummett M. *The Logical Basis of Metaphysics*. Cambridge, 1991.

Dummett, 1993 – Dummett M. *The Seas of Language*. Oxford, 1993.

Feenberg, 1997 – Feenberg A. *Alternative Modernity: The Technical Turn in Philosophy and Social Theory*. Los Angeles: University of California Press, 1997.

Feenberg, 1999 – Feenberg A. *Questioning Technology*. London: Routledge, 1999.

Feenberg, 2002 – Feenberg A. *Transforming Technology: A Critical Theory Revisited*. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Feenberg, 2017 – Feenberg A. *Technosystem: The Social Life of Reason*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2017.

Fisher, 2000 – Fischer F. *Citizens, Experts, and the Environment: The Politics of Local Knowledge*. Durham and London: Duke University Press, 2000.

Fodor, 1975 – Fodor J. *The Language of Thought*, Harvard University Press, 1975.

Friederici, 2017 – Friederici A.D. *Language in our brain: the origins of a uniquely human capacity*. Cambridge, 2017.

Frouteau de Laclos, 2009 – Frouteau de Laclos F. *L'Épistémologie d'Émile Meyerson: Une anthropologie de la connaissance*. Paris, 2009.

Fuller, 2011 – Fuller S.W. *Humanity 2.0: what it means to be human past, present and future*. Publisher: Palgrave Macmillan, 2011.

Fuller, 2015 – Fuller S. *Knowledge: The Philosophical Quest in History*. London and New York: Routledge, 2015.

Fuller, Lipinska, 2014 – Fuller S.W., Lipinska V. *The Proactionary Imperative: A Foundation for Transhumanism*. Publisher: Palgrave Macmillan, 2014.

Gibbons M. et al., 1994 – Gibbons M., Limoges C., Nowotny H., Schwartzman S., Peter Scott P., Trow M. *The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies*. London, Thousand Oaks, California: Sage Publications, 1994.

Grafton, 1994 – Grafton A. *Defenders of the Text. The Traditions of Scholarships in an Age of Science, 1450-1800*. London: Harvard University Press, 1994.

Grice, 1989 – Grice P. *Studies in the Way of Words*. Cambridge, 1989.

Gu H. et al., 2020 – Gu H., Chen Q., Yang G. et al. *Rapid Adaptation of SARS-CoV-2 in BALB/c Mice: Novel Mouse Model for Vaccine Efficacy* [Electronic resource] // bioRxiv preprint doi. 2020. URL: <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.05.02.073411v1.full.pdf> (date of accessed: 10.05.2021).

Guilhot, Marciano, 2018 – Guilhot N., Marciano A. *Rational Choice as Neo-Decisionism: Decision-Making in Political Science and Economics after 1945 // Scientific Imperialism. Exploring the Boundaries of Interdisciplinarity / Ed. By Mäki, U., Walsch A., Fernández Pinto M. – London: Routledge, 2018. Pp. 117-139.*

Gutting, 2001 – Gutting G. French Philosophy in the Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Harding, 1988 – Harding S. Feminism and Methodology. Indianapolis: Indiana university Press, 1988.

Harding, 2008 – Harding S. Science from Below: Feminisms, Postcolonialities and Modernities. London: Duke University Press, 2008.

Harding, 2015 – Harding S. Objectivity & Diversity. Chicago: The University of Chicago Press, 2015.

Harrison et al., 2011 – Harrison S., Sengers P., Tatar D. Making Epistemological Trouble: Third paradigm HCI as successor science // Interacting with Computers. 2011. Is. 23. Pp. 385-392.

Hempel, 1980 – Hempel C.G. The logical analysis of psychology // N. Block (ed.), Readings in Philosophy of Psychology, Vol. 1, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1980.

Hubel and Wiesel, 1970 – Hubel D.H., Wiesel T.N. The period of susceptibility to the physiological effects of unilateral eye closure in kittens // Journal of Physiology. 1970. No. 206. Pp. 419-436.

Humphries et al., 2014 – Humphries T., Kushalnagar P., Mathur G., Napoli D. J., Padden C., Rathmann C. Ensuring language acquisition for deaf children: What linguists can do // Language. 2014. Vol. 90 Is.2. Pp. e31-e52.

Jackendoff, 1994 – Jackendoff R. Patterns in the mind. New York: Basic Books, 1994.

Jasanoff, Simmet, 2017 – Jasanoff S., Simmet H.R. No Funeral Bells: Public Reason in a 'Post-Truth' Age // Social Studies of Science. 2017. Vol. 47 (5). Pp. 751-770.

Kasavin, 2019 – Kasavin I. Gift versus Trade: On the Culture of Science Communication // Philosophy of the Social Sciences. Vol. 49. 2019. Is. 6. Pp. 453-472.

Kirkpatrick, 2017 – Kirkpatrick G. Transforming Dystopia with Democracy: The Technical Code and the Critical Theory of Technology // Arnold D., Michael P. (Eds.) Critical Theory and the Thought of Andrew Feenberg. Cham: Palgrave Macmillan, 2017. Pp. 17-138.

Kitcher, 2001 – Kitcher P. Science, Truth and Democracy. Oxford: Oxford University Press, 2001.

Kitcher, 2012 – Kitcher P. Preludes to Pragmatism: Toward a Reconstruction of Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Kripke, 1971 – Kripke S. Identity and Necessity // Milton K. Munitz (ed.). Identity and Individuation. New York, 1971.

Kripke, 1982 – Kripke S. Name und Notwendigkeit. Frankfurt am Main., 1982.

Laland, 2010 – Laland A. (éd.) Vocabulaire technique et critique de la philosophie. 18 édition. Paris: PUF, 2010.

Latour, 2004 – Latour B. Why Has Critique Run out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern // Critical Inquiry. 2004. No. 30. Pp. 225-248.

Laugier, 2002 – Laugier S. De la logiques de la science aux révolutions scientifiques // Wagner P. (Ed.) Les philosophes et la science. Paris: Gallimard. Pp. 964-1016.

Laugier, 2006 – Laugier S. Duhem, Meyerson et l'épistémologie américaine postpositiviste// L'épistémologie française, 1830-1970. Paris: PUF, 2006. Pp. 67-91.

Lecourt, 1978 – Lecourt D. Pour une critique de l'épistémologie (Bachelard, Canguilhem, Foucault), Paris: Maspero, 1978.

Lenneberg, 1964 – Lenneberg E.H. A biological perspective of language // E.H. Lenneberg (ed.) New Directions in the Study of Language. Cambridge: MIT Press, 1964. Pp. 65-88

Lenneberg, 1967 – Lenneberg E.H. Biological Foundations of Language. New York: Wiley, 1967.

Lightbody, 2013 – Lightbody B. The Problem of Naturalism. Analytic Perspectives, Continental Values. Plymouth: Lexington books, 2013.

Lippi-Green, 1997 – Lippi-Green R. English with an accent: Language, ideology and discrimination in the United States. NY: Routledge, 2012.

Mall, 1973 – Mall R.A. Experience and reason. The phenomenology of Husserl and its relation to Hume's philosophy. The Hague, Nijhoff, 1973.

Manovich.net – Personal website of Lev Manovich [Electronic resource] URL: <http://manovich.net/> (accessed: 12.06.2021)

Merton, 1973 – Merton R.K. The Normative Structure of Science // N.W. Storer (ed.) The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations. Chicago, Il and London: The University of Chicago Press, 1973. Pp. 267-278.

Metzger, 1935 – Metzger H. Tribunal de l'histoire et théorie de la connaissance scientifique // Archeion. 1935. Vol. 17. Pp. 1-14.

Metzger, 1936 – Metzger H. L'a priorie dans la doctrine scientifique et l'histoire des sciences // Archeion. 1936. Vol. 18. Pp. 29-42.

Metzger, 1937 – Metzger H. La méthode philosophique dans l'histoire des sciences // Archeion. 1937. Vol. 19. Pp. 204-216.

Metzinger, Schumacher, 1999 – Metzinger Th., Schumacher R. Bewusstsein // Enzyklopädie Philosophie. Hrg. H. J. Sandkühler. Hamburg, 1999.

Millikan, 1984 – Millikan R. Language, Thought and Other Biological Categories. Cambridge, 1984.

Papineau, 1993 – Papineau D. Philosophical Naturalism. Cambridge, 1993.

Parodi, 1930 – Parodi D. Du positivisme à l'idéalisme philosophiques d'hier. Paris: Vrin, 1930.

Penders B. et al., 2009 – Penders B., Verbakel J.M.A., Nelis M. The Social Study of Corporate Science: A Research Manifesto // Bulletin of Science, Technology & Society. Vol. 29. 2009. Is.6. 2009. Pp. 439-446.

Petit, 1995 – Petit A. L'héritage du positivisme dans la création de la chaire d'histoire générale des sciences au Collège de France // Revue d'histoire des sciences. 1995. Vol. 48, No. 4. Pp. 521-556.

- Pinker, 1994* – Pinker S. The Language Instinct. New York: Harper Collins, 1994.
- Putnam, 1975* – Putnam H. The Meaning of <Meaning> // Putnam H. Mind, Language and Reality. Cambridge, 1975.
- Quine, 1960* – Quine W.V. Word and object. New York: MIT Press, 1960.
- Rey, 1909* – Rey A. Vers le positivisme absolu // Revue philosophique de la France et de l'Étranger. 1909. Vol. 67. Pp. 461-479.
- Ruby, 1998* – Ruby Ch. Bachelard. Paris: Quintette, 1998.
- Russo, 1974* – Russo F. Épistémologie et histoire des sciences // Archives de Philosophie. 1974. Vol. 37, No. 4. Pp. 617-657.
- Scholz, 1999* – Scholz O.R. Verstehen // Sandkühler H.J. (Hrsg.). Enzyklopädie Philosophie. Hamburg, 1999. Ss. 1698-1702.
- Sée, 1932* – Sée H. Science et philosophie d'après la doctrine de M. Émile Meyerson. Paris, 1932.
- Skinner, 1957* – Skinner B.F. Verbal Behavior. New York: Prentice Hall, 1957.
- Soler, 2009* – Soler L. Introduction à l'épistémologie. Paris: Ellipses, 2009. 335 p.
- Strawson, 1959* – Strawson P. Individuals: An Essay in Descriptive Metaphysics. London, 1959.
- Tomasello, 2003* – Tomasello M. Constructing a language: a usage-based theory of language acquisition. Cambridge: Harvard University Press, 2003.
- Wagner, 2002* – Wagner P. Introduction // Wagner P. (Ed.) Les philosophes et la science. Paris: Gallimard. Pp. 9-65.
- Zammito, 2004* – Zammito J.H. A Nice Derangement of Epistemes: Post-positivism in the Study of Science from Quine to Latour. Chicago, IL: University of Chicago Press, 2004.

ОБ АВТОРАХ

Аргамачова Александра Александровна – кандидат философских наук, научный сотрудник сектора социальной эпистемологии Института философии Российской академии наук. E-mail: argamakova@gmail.com

Касавин Илья Теодорович – доктор философских наук, член-корреспондент РАН, руководитель сектора социальной эпистемологии Института философии Российской академии наук. E-mail: itkasavin@gmail.com

Костина Алина Олеговна – кандидат философских наук, научный сотрудник сектора социальной эпистемологии Института философии Российской академии наук. E-mail: akostina@mail.ru

Куслий Петр Сергеевич – кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук. E-mail: kusliy@yandex.ru

Масланов Евгений Валерьевич – кандидат философских наук, научный сотрудник Института философии Российской академии наук. E-mail: evgenmas@rambler.ru

Соколова Татьяна Дмитриевна – кандидат философских наук, научный сотрудник сектора социальной эпистемологии Института философии Российской академии наук. E-mail: sokolovatd@gmail.com

Столярова Ольга Евгеньевна – кандидат философских наук, старший научный сотрудник сектора социальной эпистемологии Института философии Российской академии наук. E-mail: olgastoliarova@mail.ru

Тухватулина Лиана Анваровна – кандидат философских наук, научный сотрудник сектора социальной эпистемологии Института философии Российской академии наук. E-mail: spero-meliora@bk.ru

Союз науки и гуманизма

Монография

Научная редакция и составление: А.А. Аргамакова, А.О. Костина,
Е.В. Масланов.

Компьютерная верстка: Хусяинов Т.М.

Дизайн обложки: Урусова Е.А.

Корректурa: Агарин Е.В.

Тексты печатаются в литературной редакции авторов.

Подписано в печать 01.12.2021.

Формат 60x84 1/16.

Гарнитура «Times».

Уч.-изд. л. 11. Усл. печ. л. 10,6.

Тираж 300 экз. Заказ.

Издательство «Русское общество истории и философии науки»

105062, Россия, Москва, Лялин пер., д. 1/36, стр. 2, комн. 2.

E-mail: info@rshps.ru

Официальный сайт издательства: www.rshps.ru

Отпечатано в полном соответствии с представленным

электронным оригинал-макетом

в ООО "Юникопи"

603000, Россия, Нижний Новгород, Нартова ул., д. 2В

Тел. +7 (831) 283-12-34.

ISBN 978-5-6047228-1-7



9 785604 722817

Книга посвящена исследованию гуманизма в его корреляциях с современной культурой и наукой как ее фундаментальной основой. Проанализированы важные эпистемологические характеристики гуманистического проекта, значение гуманизма для научной рациональности и общественного развития.

Особое внимание уделено гуманистическому измерению технауки и особенностям коммуникативных контекстов познания с позиций проблем гуманизма. Книга предназначена для специалистов в области философии и других гуманитарных дисциплин, работающих в области эпистемологии, социальной истории и философии науки, а также всех интересующихся проблематикой гуманизма и динамикой современной культуры.

ISBN 978-5-6047228-1-7



9 785604 722817